



6
1972

У Р А Л Ь С К И Й
С Л Е Д О П Ы Т





Литературно-художественный
научно-популярный ежемесячный
журнал для детей и юношества.
Орган Союза писателей РСФСР,
Свердловской писательской
организации и Свердловского
обкома ВЛКСМ

Год издания пятнадцатый

В НОМЕРЕ:

О. Поскребышев СТИХИ	2
А. Устинова ПО МАРШРУТАМ БАШКИРИИ	5
В. Зуев ТЕЧЕТ НАВЛЯ. Повесть.	6
В. Утков ТОБОЛЬСКИЙ ЭНТУЗИАСТ	27
И. Давыдов НАЙТИ СЕБЯ	28
С. Буньков ЧУДЕН ДНЕПР. Рассказ	36
О. Савин, Б. Розенфельд ИСТОРИЯ ДВУХ АВТОГРАФОВ	41
В. Дранишников ЗА ПЕСНЯМИ	44
Ю. Муйземнек, В. Челищев ГЕРОИ ОЛИМПИАД	47
И. Росоховатский ПУСТЬ СЕЯТЕЛЬ ЗНАЕТ. Фантастическая повесть	49
ФОТОКОНКУРС	61
А. Нагибин СЕВЕРНАЯ ПОЭМА	62
Л. Федоров ЛЕСНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ	64
Л. Виноградов ИНДИЙСКАЯ МОЗАИКА	67
СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА	69
В. Головкин ТАК НАЧИНАЕТСЯ... Операция «Ч»	70
В. Колчин, Н. Николаев ИЗ КНИГИ ПРИРОДЫ	72
А. Беляев КУЗЬМА И КОСМЕТИКА	74
СЕРЬЕЗНОЕ С КУРЬЕЗНЫМ	80

Обложка Е. Стерлиговой
На второй странице обложки фото
А. Нагибина

УРАЛЬСКИЙ
СЛЕДОПЫТ 6
1972

Олег
ПОСКРЕБЫШЕВ

Цветок
золотой—
италмас¹

Поля и луга, и тропинки,
И гулы, и звоны, и тишь...
Удмуртия, жаркой кровинкой
Ты в сердце России горишь.

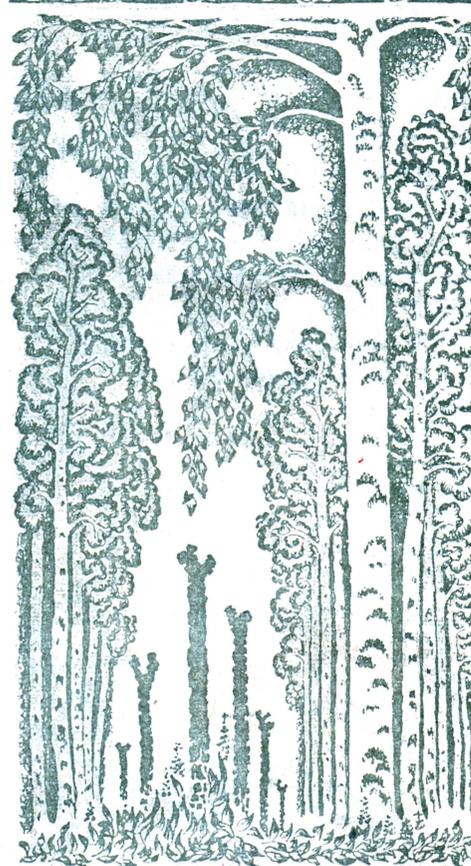
Желанное сделалось близким
На веки веков — не на час.
Ты в ярком букете российском
Цветок золотой — италмас.

Народному братству не тесно
Под крыльями алых знамен.
И если вся Родина — песня,
Ты в песне той — гусельный звон.

Нас в жизни никто не осилит,
Все крепче,
все выше страна.
Ты в силе могучей России —
Как в Волге большая волна.

Поля, и луга, и тропинки,
И гулы, и звоны, и тишь...
Удмуртия,
жаркой кровинкой
Ты в сердце России горишь.

2 ¹ Италмас — желтая купальница, любимый цветок удмуртов воспетый во многих легендах, преданиях, песнях.



Засечки

на тамге¹

Навсегда,
навековечно,
Если жить не налегке,
Время делает засечки
На душе, как на тамге.
От всего, что жжет и мучит,
Что сбылось,
что не сбылось,—
У рубца ложится рубчик,
У затесинки затес.
Поглядишь в себя прямее —
И напомнит вдруг тамга
О делах, мечтах, затеях,
Об ошибках, о долгах...
А порою все туманно —
Ничего не сыщешь взгляд.
Но засечки, будто раны,
Тихой полночью болят.

Отец

Я держу заране на заветке,
Как пойду в деревню в свой конец.
Знаю —
вновь заговорят соседки:
— Весь в отца...
Ну, вылитый отец!..—
А отец ни удалю былынной,
Ни могучностью
не знаменит.
И давно уже под дерновиной
Он в рубахе белой крепко спит.
Молчаливы сосны за оградой,
Говорлива под горой Чепца.
С потайной,
с растущей отрадой
Слушаю, что обликом в отца.
Все милей мне пробиваться взглядом
По пути-дороге за родным:
Пахарем он был
и был солдатом —
Человеком самым рядовым.
Их, таких —
что зерен на лопате,
Что в урёме кондовых лесин...

¹ Тамга — тавро, клеймо, а также палка, на которой делались различные памятные засечки.

Но когда б не ратай да не ратник,
Разве бы стоять в веках Руси! —
А она стоит в борах и в житах,
Расцвела, да и осталась цвелью.
Так что на отцов незначенных
Походить —
найди-ка выше честь!

■ ■
Не стремясь к особой доле,
К поименной чести,—
Как отцы,
в цехах и в поле
Славны будем вместе.

Хватит рук за дело браться,
Да и дружбы хватит
Возводить совместно Братски,
Вместе обживать их.

Будем в буднях незастойных
Братьями друг другу!
Пусть в праздничных застольях
Братины по кругу!

И навек запомним свято,
Слив сердца и силы,
Как за нас легли солдаты
В братские могилы.

Не ища поодиночке
Славы непреременной,
Встанем в песнях —
строчкой к строчке,
В жизни — к смене сменой!

После лесного пожара

Когда огонь опал,
Решив, что дело сделано,
Те первыми на пал
Пришли березки белые.

Где вился ворон-чад —
Огня дыханье смертное,
Они светло стоят,
Как сестры милосердные.

Под тишью навесной
Сквозь пепел встали вновь они.
Их нежной белизной
Ожоги забинтованы.

Земля заживлена,
Прошита их кореньями;
Шевелится она
Под пнями изгорелыми.

Ах, после гроз и слез,
Когда все изувечено,
Не раз им так пришлось
Боль родины залечивать.
Не потому ль —

взгляни
На рощи на белесые —
Россия искони
Врачевана березами!



Тропка да картофельное поле:
К ряду ряд — что ко строке строка;
Да в овсах пробежки ветерка;
Да река глядит издалека;
Да за длинным льном

не молоко ли
Пролилось широкою рекою
Или это сели облака;
Да у белой гречи на приколе,
Как в загнетке жаркое уголье
(Только не в золе, а на подзолье),
Вспыхнуло цветенье клеверка;
Да, как гостя главная в застолье, —
То-то широка и высока —
Рожь гудит вальняжно на раздолье
С прожелтью лучей по колоскам;
Да у сочной поймы на подоле
До поры,

до сенокосной доли,
Яркой вышивкой цвести цветам;
Да журчанье... шелест... птичий гам...
Да из глаз
От счастья, как от боли,
Тихо-тихо —
Слезы по щекам.



Откуда же она такая,
Болезнь ли, поза ли меж нас:
Чуть что — самим себя обхаять,
Свое влоочь по-свойски в грязь!
Иной возьметса —

мать честная,



Все подчистую пустит в дым:
Мол, и того-то мы не знаем,
И там-то после всех стоим;
И в этом, дескать, сплошь профаны,
И в том — подвинулись на грош...
Ну, словом, русские Иваны,
Ну, а с Иванов что возьмешь!
Послушаешь —

и верно плохи,
Так никудышны, просто страх...
Но кто же посреди эпохи
Стоял на всех тугих ветрах!
Лицом к труду,

к страданиям,
к войнам,
Надёжой мира наречен,
Кто миру был щитом червлёным,
Кто был в нем праведным мечом!!
И столько сотворил такого
Народ наш первым за века,
Что к нам прибит,

пришит,
прикован
Взгляд всей земли издалека.
Так ладно ли молчать боянам,
Когда иные баюны
Поют о нас —
но как-то странно —
С одной лишь с темной стороны!

■ ■
Жизнь — просто однодневка,
Лучинки трепетанье —
Без громового эха
Больших воспоминаний.

Жизнь — просто однодневка,
Миг — и огонь потушен,
Когда у человека
Ни думки о грядущем.

ПО МАРШРУТАМ БАШКИРИИ

Уже семь лет изучают озера Башкирии следопыты средней школы № 2 Чишминского района. Летом 1971 года по заданию Башкирского филиала Географического общества СССР ребята выезжали на озеро Большой Толчан (Чистый Ивняк).

Юные исследователи сделали промеры глубин, определили заиленность, температурный режим, составили профили дна, берегов и карту глубин. Следопыты исследовали режим питания водоема, родники, определили расход воды источников, выяснили причины зарастания озера.

Ребята собрали сведения о ледовом режиме, загрязнении озера, выяснили его хозяйственное значение. Ученые Башкирского государственного университета дали высокую оценку работе ребят.

Туристы Дома пионеров города Стерлитамака увлекаются спелеологией. Маршруты их похода проходили от Стерлитамака через Красноусольск, деревню Саралы, по реке Зилим, через Зиреклы, Солонцы, Кораново. Путь был нелегким. Ребятам пришлось преодолеть крутые перевалы, переправляться через быстрые реки. Но все трудности отступали перед неожиданными открытиями. Так, недалеко от хутора Байдак следопыты обнаружили, что река Усолка уходит под землю и вновь появляется спустя три километра. Не меньший интерес вызвало редчайшее явление природы — известковые пещеры по берегам реки Зилим. Следопыты тщательно обследовали уже известные пещеры и открыли еще три новых. Одна из них была сквозной, с красивыми натёками гипса. Но самой интересной оказалась пещера «Сусакуй», находящаяся в пяти километрах от деревни Толпарово. В ней одиннадцать залов с множеством сталактитов и сталагмитов.

Домой ребята привезли большую коллекцию камней, схемы пещер, много фотографий.

Следопыты средней школы № 10 Белорецка изучают музыкальный фольклор села Верхний Авзян. Они собрали и записали на магнитофонную ленту обрядовые песни и частушки.

А. УСТИНОВА



ТЕЧЕТ НАВЛЯ

Повесть

Владимир ЗУЕВ

Рисунки В. Сыскова

Казюля

Утром Велика растолкал Степка.

— Ребята-на-Навлю-идут-а-ты-копаешь-ся, — зачистил он.

Велик продрал глаза и сел на постели.

— Кто да кто?

— Зарян-Васька-Бык-Демон-Ну-и-мелочь - пузатая, — Степка пренебрежительно махнул рукой, давая понять, что им, перешедшим нынче в выпускной четвертый класс, совсем неинтересно знать поименно всяких там первачков-червячков, втораков-дураков и даже третьеклассников.

Быстро одевшись и запихнув в карман кусок хлеба, Велик вслед за Степкой выскочил на улицу.

Солнце уже стояло высоко, но еще не жарило — песок был чуть теплый, и глазам не больно было смотреть на его сыпучую желтизну.

— Где же ребята?

Степка посмотрел из-под ладони в сторону темневшего на горизонте леса, никого не увидел, разозлился и забубнил:

— Где-где-копался-б-больше - теперь - попробуй-догони.

— Я, что ль, копался?

— А-то-нет?

Они бежали, утопая в песке по самые щиколотки, и переругивались.

6 — Чего-ж-ты-сразу-не-поднялся-а - начал - кто-идет-да-зачем-да-куда?

— Давай не свисти, я не спрашивал — зачед да куда, понял?

— Не-звени-подвинься-спрашивал-и-еще-допытывался-кто-из-первачков-идет-сдались-они-тебе...

У Велика даже голос пропал от возмущения. Он трижды открывал рот, прежде чем смог произнести:

— Да ты что... Да ты чего ж брешешь, как собака?

— Сам-собака-еще-похуже.

Переругать Степку было невозможно, Велик это знал. Но — что ж, проглотить обиду и пусть берет верх?

— Никто тебя не просил заходить. Боялся отстать — катился б мимо, понял?

— Я-б-и-не-зашел-нужен-ты-мне-сам-вчера-зайди-а-то-я-просплю.

Ну, прямо в глаза смеется!

— Змей Чесопуз! — Велик дернул щекой и, сжав кулаки, рванулся к Степке.

— Змей-Колпак, — увеличивая скорость, выдал Степка ответное ругательство. Он произнес его так, будто у него мимоходом спросили: «Как дела?», а он мимоходом же бросил в ответ: «Ничего, помаленьку».

Это еще больше взбесило Велика. Он бросился догонять Чесопуза, но сколько ни надрывал, круглая Степкина спина и дремуче заросший рыжий затылок ни на шаг не приближались.

Так пробежали они песчаную пустошь, усеянную редкими островками краснокожих верб, ключ, куда бабы ходили стирать белье, сажал-

ки — четырехугольные ямы с водой, где осенью «топили» пеньку. Вдруг Степка обернулся и как ни в чем не бывало радостно и дружелюбно закричал:

— Вон-они-а-ты-разозлился-что-не-догоним!

— Й — я? А не ты?

— Не-звени-подвинься. — Раскрасневшееся толстое лицо Степки, как маком засеянное рыжими крапинками, расцветивала добродушная улыбка.

И глядя в это улыбающееся дружелюбное лицо, Велик понял: спорить бесполезно. И драться — тоже: со Степки все как с гуся вода.

В а сажалками пошло сухое болото, усыпанное острыми косматыми кочками, заросшее высоким лозняком. Дорога петляла между кустами. Две глубокие колеи от тележных колес были наполнены вязкой грязью.

Ребята шли гурьбой, тесно облепив Заряна и Ваську Быка. Штаны у всех были подсушены до колен; слушая разговоры больших, под ноги не глядели и, оступаясь, то в грязь влипали по щиколотку, то — между кочек — попадали в воду.

Дымя самокруткой, Васька рассказывал, как он в последний раз путешествовал.

— Весь Сэсэер несомненно объездил. В Киеве по крайней мере побывал, в Харькове, Одессе и в Днепропетровске. Это только где меня несомненно забирали.

Во всех четырех городах Ваську хотели водворить в детдом, но — дурак он, что ли, в казенную неволю идти? — все четыре раза Васька сбежал, обманув доверчивых городских милиционеров.

Васька не сказал, как и почему он очутился в путешествии. Об этом и так знали все в деревне. Васька украл дома одиннадцать рублей, за несколько дней прокутил их (курил папиросы, ел халву целыми кусками и даже пил вино-портвейн), а когда это открылось, прихватил еще тридцатку, сестры Дуньки шелковый подшальник и задал латата.

Путешествия повторялись регулярно — раз в год. Зайцем поколесив с месяц по неведомым краям, Васька возвращался в отчий дом, получал трепку, прощение и притихал до следующего раза. Не то что уж совсем притихал, время от времени его ловили в чужом саду или огороде, но это были привычные деревенские шалости, воровством их не считали.

Велик Васькины рассказы слушал прямо-таки не дыша. Ну, вот Киев. Из учебника Велик знал, что есть такой город, столица Украины, но за этим названием для него ничего не стояло — просто четыре буквы, соединенные в непонятное слово, все равно как какая-нибудь Ливия или Катманду. А вот рассказал Васька, как горбоносый усатый милиционер вытащил его из тамбура, сперва дал подзатыльник, а потом накормил хлебом с маслом — бутерброд называется, слово немецкое, — как вел его, как ехали в трамвае мимо многоэтажных кирпичных домов — хата на хате, — и парков — это такие рощи, прямо посеред города, — а потом по берегу Днепра — широко-окая река, за два дня не переплывешь! — как Васька изловчился и выскочил из трамвая, а усатый кинулся было ловить его, да куда в такой толпе! — рассказал про все это Васька, и Велик будто своими глазами увидел этот город Киев и поверил, что существует он не только

на карте и в учебниках, и даже позавидовал людям, которые там живут, и Ваське позавидовал, что он побывал в этом красивом большом городе. Васька, когда рассказывал, вырастал в его глазах, виделся ловким,мышленным, расторопным и смелым, и совсем забывалось, что он попал в Киев потому, что спер у отца деньги и у сестры Дуньки шелковый подшальник...

Вдруг Толик Демон — он шел впереди, полуобернувшись к Ваське, чтобы слышать его рассказ, — дурным голосом вскрикнул:

— Ма-а! — метнулся за ребятами спины.

Ребята ничего не понимая, на всякий случай тоже сыпанули назад. На месте остался только Зарян.

Велик, стоявший ближе всех к Заряну, увидел толстый серый жгут поперек дороги и испуганно крикнул:

— Коль, казюля!

— Вижу, чего надрываешься? — спокойно ответил Зарян.

Гадюка была от него в полушаге. Она повернула к нему поднятую над землей голову, выбросила раздвоенное жало и, пронзительно шипя, ринулась вперед. Велик увидел ее глаза, они были налиты лютью. Велику показалось, что из них брызнет сейчас на Заряна тугая струйка яда, и он, отшатнувшись, закричал:

— Коля, беги!

— Молчи! — сердито отозвался Зарян. — Ищи палку.

Его лицо обрезалось, кожа на скулах натянулась и побелела, глаза сощурились, стали злые. Он пригнулся, прыгнул через гадюку и сразу же, сделав неуловимо точное движение, наступил на нее у самой головы.

— Палку!

Велик подбежал с палкой и протянул ее Заряну. Тот качнул головой:

— Не видишь, мне нельзя шевелиться — вырвется. Бей!

Велик глянул в гадючьи ядовитые глаза и, зажмурившись, изо всей силы ударил.

— Если еще раз, дурак, попадешь по ноге, я из тебя кулеш сделаю! — прошипел Зарян.

К горлу подступала тошнота. Велик сжал зубы и ударил по страшным казюлиным глазам. Когда на помощь подбежал Степка, все было кончено. Зарян стоял рядом с гадюкой, потирая ушибленную ногу.

Подошел Васька. В руках у него была огромная дубина. Размахнувшись, Васька изо всей силы ударил по шевелившемуся еще туловищу.

— Вот так! — сказал он.

Зарян, не поднимая головы, ответил:

— Ну, спасибо, если б не ты — хана нам.

Васька сделал вид, что не расслышал.

П ошли дальше. Первое время ребята боялись высказывать вперед и сворачивать со стежки, поэтому шли гуськом — Зарян впереди, за ним Васька, а дальше — по смелости. Только Велик держался сбоку Заряна, на полшага сзади. Где-то он читал, что так полагается ходить адъютанту: сбоку и сзади от командира. А после сражения с казюлей он чувствовал себя сподвижником Заряна, конечно, не равным, а помощником, как бы адъютантом. И Зарян признавал это — время от времени он поворачивал к Велико голову и говорил с ним не так, как обычно говорят большие с маленькими — свысока, а как с равным. Велика распирало от гордости.

Васька недовольно сопел своим широким носом: ему, видно, не по нраву было, что Зарян обсмеял его при всех, а Велика возвысил.

— Это была не казюля, — сказал он. — Это уж. А ужи не ядовиты, они даже полезны, их убивать несомненно не рекомендуется.

Васька любил щеголять учеными словцами. Другого бы засмеяли, а у Васьки это воспринималось как надо: человек побывал в больших городах, культурным стал.

Зарян обернулся к Ваське, усмехнулся.

— Вот почему ты не спешил! А я-то, дурак, думал, у тебя лытки затряслись от страха.

— Ладно, ты тоже хорош, храбрец, — ужа убил. Не видел, что ль, у него на голове три красных пятнышка?

Зарян разозлился.

— Я тебе скажу только одно: я получше тебя отличаю ужа от казюли.

— Вот то-то и оно-то, — многозначительно сказал Васька. — Различаешь, и все-таки убил ужа под видом казюли. Чтоб по крайней мере в героях ходить.

— Не было пятнышек! — крикнул Велик. — Не было!

Со страху-то он не заметил, были они или нет, но он верил Заряну и не мог допустить, чтоб Васька Бык позорил его.

— Вот, — сказал Зарян. — Ясно? Велик к ней поближе тебя был.

— А, Велик! — Васька пренебрежительно махнул рукой. — Я специально разглядывал, а Велик твой безусловно — барахло и трепло.

— Ах ты, змей Бык! — крикнул Велик и, схватив комок полусохшей грязи, запустил в Ваську.

Васька схватился за щеку и кинулся на Велика. Но на пути у него стал Зарян.

— Не будем, — сказал он ласково.

Лицо и шея у Васьки налились кровью. Приземистый, коренастый, с широкими плечами, большой головой на короткой шее и кулаками с лошадиные копыта, он казался тяжелым и несокрушимым, как глыба. Легкий стройный Зарян с его узкими ладонями и нежной шеей выглядел против Васьки жидко. И все же, глянув на побледневшее Заряново лицо, встретившись с его взглядом, Васька разжал кулаки, расслабился.

— А чего он? — чуть не плача, сказал Васька. — Ругаться ругайся, а рукам воли по крайней мере не давай.

— Это верно. Я тебе скажу только одно: спор наш еще не закончен, и рассчитывать рано. Считай, что ты получил задаток. Будем идти назад, поглядим: если убили ужа, ты вернешь нам задаток и еще дашь каждому по оплеухе, если казюлю — получишь оплеуху только от меня. Нет, нет, торговаться не будем, а то ведь что: языком трепать любим, а отвечал кабы дядя.

Чудно все-таки, размышлял Велик, шагая сбочь Заряна. Если б Васька Бык насмелился и начал драку, он сбил бы Заряна. А вот не насмелился. И не насмелится. Потому что тут не кулаки главное.

Зарян водит компанию с большими ребятами, его зовут на комсомольские собрания, дают на грузки — то газеты читать в поле, то подписывать на заем, то выпускать стенгазету. И на колхозных собраниях — Васька огинается на задах, за спинами, вместе с остальной мелкотой, а Зарян сидит с комсомольцами на первых скамейках. Однажды выступал даже.

Так что хотя Зарян и Васька Бык — одноклассники и у Васьки больше силы, перед Заряном он все равно, как Демон, мелок. Это каждому ясно, и самому Ваське тоже.

Через некоторое время кустарник кончился. Дорога стала сухой и прямой. Теперь она бежала по заливному лугу. Трава на лугу была густая, ростом по пояс. Кое-где виднелись ошметки тины — следы весеннего половодья. Впереди извивалась строчка кустов, а за нею высился лес.

— Навля! Навля! — восторженно закричали самые маленькие и со всех ног ринулись вперед. Когда подошли остальные, малыши уже плескались, ползали и плавали на мелководье.

Навля... Велик и сам чуть не закричал от радости, увидев ее. Но сдержался для солидности. Чистая, пронизанная насквозь солнечными лучами, бежала река по белому мелкому песку, ласково курлыча и взбулькивая, а над нею летали стрекозы, тихо шептались ивы и в зной зудели шмели. Здесь, на переезде, она была широкой — раскатали берега подводами — и мелкой.

Ребята переправились на другой берег и разбрелись по опушке леса в поисках дикого чеснока, котиков, свиуха, борща¹.

Рядом с Великом оказался Степка.

— Я-уже-во-сколько-набузовал, — похвастался он, — а-у-тебя-гляжу-даже-ни-одного-свиуха.

— Я рву и ем. Наемся, потом домой нарву. Свеженькие будут, а у тебя уже завянут.

Степка похмыкал носом, почесал живот.

— Не-звени-подвинься-у-тебя-скорее-завянут.

Приводить доказательства он считал излишним.

К ним подошел Толик Демон.

— А я борща нарвал. Молоденький, сладкий. Вон там, в низинке, в кустах. Идите, а то мелочь пузатая набежит...

Толик учился вместе с Великом и Степкой. Он был тихоня и трусоват, друзья ему покровительствовали, ну, и относились к нему как благодетели, и он к ним, соответственно, с уважением.

— А-что-ж-ты-сразу-нас-не-позвал? — напустился на него Степка. — Собрал-весь-борщ-а-потом-идите.

— Да нет, я с краешка походил, а как стал попадаться борщ, так сразу к вам.

— Не-выкручивайся-ишь-какой-пук-нарвал-с-краешка-змей-Демон!

У Толика был жалкий вид. Он и вообще-то меньше всего был похож на демона, а сейчас — и говорить смешно. Велику стало жалко его, он одернул Степку:

— Чего ругаешь человека? Пойдем сперва поищем, где он сказал.

— Если не найдете, я вам свой отдам, — обрадовался Толик.

— Чур-от-слов-не-отказываться! — Степка выхватил у Толика борщ и пересчитал. — Теперь-попробуй-хоть-одну-борщину-съесть.

Толику не пришлось отдавать свой борщ: из низины, которую он показал, Велик и Степка приволокли по целой охапке.

Все утомились, а тут еще солнце припекало вовсю, хоть язык высовывай. Пристраивались кто под куст, кто под дерево, а мелочь пузатая валялась прямо в траву — где одолела усталость...

¹ Котик и свиух — цветы с желтыми соцветиями. Съедобен сочный сладковатый стебель. Свиух, борщ — растения с мясистыми стеблями. Стебли, очистив, едят.



— Эгей! — крикнул Зарян. — Купаться!
Купались на «своем» берегу, шагах в ста выше переезда. Здесь берег круто нависал над рекой, внизу темнел глубокий омут — вир. Кто не умел плавать, барахтались у противоположного берега: пологий, песчаный, он как бы сползал в реку и, потихоньку погружаясь, полз до ее середины.

Первым в вир прыгнул Зарян. Он упал красиво, ласточкой, никто так не умел. Велик, прыгнувший следом, попытался тоже ласточкой, но ничего не вышло — так больно хлопнулся о воду животом, что едва выплыл на отмель, а потом долго отлеживался там. Когда вылез на берег, все еще поташнивало.

На берегу ребята сгрудились вокруг Васьки Быка. Васька рассказывал:

— Морю конца не видно. Волны поднимаются одна за другой — несомненно красиво! А вода плохая: горькая и огрызки плавают. А на берегу — тьма-тьмущая народу, по крайней мере плюнуть некуда. Мужики, ребята и даже пацаны — от горшка два вершка — все безусловно в трусах. Бабы и девки — в спецовках: трусы и сарафан в одно сшиты.

— В-спецовке-накупаешься, — насмешливо вставил Степка, и все засмеялись над причудами городских.

Велик не смеялся. Ну, что тут смешного? Раз у них ребята и девки вместе купаются, то нешто можно голяком? Другое дело: зачем им это нужно — вместе? Какой интерес?

— Вся эта куча мала на берегу называется ляжь, — продолжал Васька. — Одесские прибавляют букву «п»: пляж. Ну, в Одессе вообще такая привычка — все слова говорить по крайней мере шиворот-навыворот.

— Пляж — это правильно, а никакой не ляжь, понял? — сказал Велик. — Я читал.



— Гляди-ка, читатель какой нашелся! Ты читал, да безусловно не разобрал, что к чему. Ляжь — значит, лежать, там и вправду лежат, а пляжь? Ну-ка, ответь, если ты по крайней мере такой грамотей!

— Я не грамотей, а только точно знаю, что пляжь — так и надо говорить. И это ты сам переворачиваешь шиворот-навыворот, а валишь на других, понял?

— Ты если еще встрянешь в мой разговор, будешь иметь несомненно бледный вид и безусловно тонкую шею!

Велик встал, разбежался и прыгнул в вир головой вниз. Долго шел в глубину, а потом вверх — еле воздуху хватило. Перевернулся на спину и поплыл по течению. Собственно говоря, не поплыл — течение само несло его, оставалось только пошевеливать руками и ногами, чтобы держаться на поверхности. Вода ласкала тело, она была теплая, свежая и мягкая, так бы и сидел в ней целый день.

Часто окунаясь, Велик доплыл до переезда, полежа у берега. Обычно назад к месту купания ребята возвращались посуху: против течения плыть не решались — уж очень оно было тут быстрым. Но сейчас Велик решил: поплыву! Надо же когда-нибудь проверить свои силы, доказать, что не случайно Зарян его отметил. Если одолеет течение и доплывет до вира, то сразу станет так высоко, что не всем и большим ребятам дотянуться. Степка будет хмыкать носом, чесать живот и делать вид, что нисколько не завидует, а Зарян, может, скажет что-нибудь похвальное, а и не скажет, так подумает.

Плыть против течения оказалось не так уж и трудно. Велик даже удивился. Ему оставалось проплыть поворот и потом по прямой каких-нибудь десять шагов. И тут его потащило назад — течение на повороте было прямо-таки бешеным. Велик напряг силы, лег на бок и заработал руками быстро-быстро, как мог. Сносить его перестало, но и вперед не пускала тугая встречная струя. Он перевернулся на спину — отдохнуть, но его сразу понесло назад. Пришлось снова лечь на бок и напрячь силы.

Медленно, медленно, по сантиметру в минуту, не больше, приблизился он к повороту. А дальше — ни с места. Он греб, греб изо всех сил, отталкивался от воды ногами — все попусту. А силы таяли, руки слабели, и Велик вдруг понял, что еще немного — и он не в состоянии будет шевельнуть ни рукой, ни ногой, и тогда — конец.

У него сжалось сердце, холодно стало внутри, помертвело лицо.

— А-а-а! — закричал он в ужасе. — А-а-а!

— Ты чего это? — раздался удивленный голос. Велик приподнял голову. На берегу стоял Зарян. До него было шага четыре, не больше.

— Я тону! — в отчаянии выкрикнул Велик.

Зарян засмеялся:

— Да? Чего это тебе приспичило?.. Куда ты рвешься, плыби сюда.

В два взмаха Велик доплыл до берега и ухватился за кусты. Но вылезать не спешил — лежал в воде, ожидая, когда уйдет Зарян: ему было стыдно. Позор, ох, какой позор! Берег под носом, а он кричал, дурак. И ведь что самое обидное — если б не Зарян, так и потонуть бы мог в двух шагах от берега. Ничего не соображал, как маленький.

Зарян ушел. Тогда Велик медленно-медленно

переплыл на ту сторону, вылез и поплелся в обратную от ребят сторону.

Навля сделала плавный поворот и приблизилась к лесу. На обрывистом берегу толпились дубы, березы, клены.

Велик сел на траву под старым дубом и стал смотреть на реку. Навля здесь была разбойницей, своей быстротой она напирала на берег и подмывала его, то и дело слышались всплески — это шлепались в воду оторвавшиеся от обрыва пласты земли.

Рядом с Великом на кромке обрыва стояла береза, ее корни уже начали оголяться. Но она еще крепко держалась за землю, ее крона ярко зеленела, весело шелестели молодые листья, а ствол был налит соком. Однако береза была уже не жилица на белом свете, и ее полносочное цветение накануне гибели рождало тоску.

Велик лег на живот, свесил голову с обрыва. Глаза его наполнились слезами.

Внизу бежала Навля. Мимо Велика быстро проплывали ошметки старой коры, палки, клочки сена; верхом на корявом сухом сучке промчался пузатый черно-блестящий жук. Река гомонила, всплескивала, тонко позванивала. И постепенно это безостановочное движение воды, приглушенный ритмичный ее шум, сонное гудение разомлевших от жара шмелей, птичье щебетание и шелест листьев над головой заполнили Велика до краев, вытеснили горькие переживания, успокоили. Ему уже не было стыдно, что он тонул и кричал, это происшествие показалось давнишним и как будто случилось не с ним, и пришли утешительные мысли про березу: ей еще жить и жить, вон у нее какие крепкие корни и как глубоко они ушли в землю.

С той стороны, где остались ребята, послышались невнятные из-за расстояния крики. Велик встал. Наверное, собрались домой, зовут его. Уходить не хотелось — так хорошо, красиво было здесь. Лес, подступивший к реке, и зеленые мягкие лужайки между деревьями, и обрыв на этом берегу, и кусты у самой воды на противоположном, а над всем этим — синее-синее небо и яркое-яркое солнце... Все вокруг было полно жизни, света, движения, шума.

И душой всего была Навля, быстрая, хлопотливая, певучая, ласковая...

Ребята стояли уже одетые.

— Ты-чего-задаешься, — забубнил Степка, — ушел-от-всех-как-какой-нибудь-мечтатель-а - его жди.

Велику не хотелось сейчас спорить. Не отвечая, он подошел к своей одежде и стал торопливо одеваться.

Под одеждой лежали его котики, свинухи, чеснок, борщ. Лежали, когда он купался. А сейчас котиков была жалкая горсточка и всего четыре свинухи, и то старые, твердые, сухие, их Велик и сорвал-то так, для счета.

Велик чуть не заплакал. Было, конечно, жалко украденного — столько собирал, и все для дяди, и обидно было, что все придут домой с целыми охапками, а он пустой, и Танька, сестренка, будет просить у своих подружек: «Дай свинуха». А главное — ему было горько, аж до боли, что кто-то пошел на такое.

«Ладно, молчи, не порть настроение другим», — сказал себе Велик.

Но ребята и сами заметили пропажу.

— Э-а-где-ж-твой-свинухи? — удивленно спросил Степка.

Зарян присвистнул: вон оно что! Он отделил от своего пука горсть свинухов и горсть котиков и протянул Велику.

— На. Ребята, ну-ка.

Зарян называл имена и следил, чтоб у кого больше, тот и дал больше, и чтоб у Велика не получилось больше всех. Это было справедливо, и никто не перечил.

— Ну, а теперь вперед! — скомандовал Зарян. — У меня кишки марш играют.

Ох, зря он это сказал! У Велика засосало под ложечкой. Сейчас бы хоть корочку хлебушка!

Шли ходко, так, что самым маленьким почти всю дорогу пришлось бежать трусцой, а иногда и рысью.

Вдруг Зарян остановился.

— Видишь? — сказал он Велику, который и сейчас держался от него на адъютантском расстоянии. — Ничего не видишь?

Велик недоумевающе позыркал по сторонам и пожал плечами:

— Н-нет.

— Ну вот. А на этом месте мы казюлю убили. Где она? И где Васька? Я скажу тебе только одно: все понятно?

Аома было тихо и сумрачно. Отец сидел за столом, брился. Мать — рядом. Подперев кулаком щеку, она глядела на отца жалобно. Глаза у нее были красные. Она молча собрала Велику пообедать и вернулась на свое место.

Танька в своем уголке на полу играла в куклы. Там же, как всегда, околичивалась и кошка Белянка. Вообще-то это был кот, но Танька таких тонкощет не понимала, еще котенком назвала Белянкой и зачислила в свою кукольную семью на правах дочки. Когда вошел Велик, кот Белянка сверкнул на него зеленым глазом и убрался за Танькину спину: с Великом отношения у них были далеко не родственные.

Отец побрился, прибрал за собой на столе, умылся над лоханкой у печки. Подошел к Велику.

— Ну-ка, попробуем лесных богатств. Нюр, налетай.

Мать взяла котик, откусила, но было видно, что ей не до лесных богатств.

— Я тебе в белую сумку соберу, — сказала она отцу.

— Во-во. — В голосе его звучала ирония.

— А что? Чистенькая, беленькая. И не маленькая.

Отец засмеялся.

— Что ты, Нюр, стихами-то? Беленькая и не маленькая... Ну, давай беленькую. Хорошая мишень немцу будет.

Мать виновато поморгала.

— Ну, так я ее выкрашу в черное. — Она всхлипнула.

— Па, а куда ты? — испуганно спросил Велик.

— Война, сынок, началась. Нынче ночью фашист бомбил наши города — Киев, Одессу... так что... Ну, ладно, пойду к себе в избу-читальню, прочитаю мужичкам газеты.

Велик увязался за ним.

— Па, а мы победим? — спросил он, забегая вперед, чтобы заглянуть отцу в лицо.

Отец вдруг рассердился.

— Пионер, а задаешь такие дурацкие вопросы! Иди-ка вон к своим архаровцам. — Он кивнул

в сторону сруба, где сидели Степка и Толик. — Проведи с ними политбеседу.

Когда Велик подошел, Степка и Толик в один голос крикнули:

— Слышал?!

— Пораньше вас, — отозвался Велик. — В Киеве одна бомба в сад попала, сразу десять деревьев выдрала с корнем, а другая — в Днепр.

Таких подробностей они, конечно, не могли знать. Демон пошевелил кожей на лбу и почтительно уставился на Велика. Степка сплюнул и попытался перехватить инициативу.

— А-какая-в-Днепр-угадай-взорвалась-или-нет?

Но Велик был начеку.

— Чего мне угадывать — я-то знаю, а вот ты угадай.

— Не-звени-подвинься-ну-скажи-если-знаешь.

— Нет, ты угадай.

Конечно, если бы кто-нибудь из них знал, взрываются бомбы в воде или нет, спора и не было.

— А-угадай-победим-мы-фашиста? — снова атаковал Степка.

— Тут и гадать нечего, — пренебрежительно усмехнулся Велик. — А ты что, думаешь, фашист может победить?

Степка поспешил отвести от себя это подзрение.

— Не-звени-подвинься-я-так-не-думаю-у-нас-какая-сильная-армия-вон-в-песне-поется-загрохочут-железные-танки-и-линкоры-пойдут-и-пехота-пойдет-и-помчатся-лихие-танчики...

Вэту ночь Велик долго не мог уснуть. Все-таки беспокойно, тревожно было на душе. Отец уйдет на войну, и хоть фашиста наши разобьют малой кровью, как в песне, а все ж это будет чья-то кровь, может, и отцова.

Когда он, наконец, задремал, ему приснилось, будто идет он по берегу Навли. Солнце сияет, играет Навля, шумит лес, тихонько покачивают желтыми головками котики на полянке. Велик идет и любуется всей этой картиной, и будто бы пьет звуки — журчанье Навли, и шум леса, и шорох травы, — и пьет, и пьет, и не может напиться. И вдруг послышалось какое-то гуденье, и из леса выползла казюля. Она ползла через полянку, сминая траву и котики, голова ее была высоко вознесена над землей, а туловище, извиваясь, все тянулось и тянулось из леса, и не было ему конца. Длинный раздвоенный язык напоминал ядовито-красное пламя. И казюля не шипела, а гудела, как самолет. Ее стальное толстое туловище перечеркнуло полянку с котиками, наискосок перечеркнуло Навлю, а голова неслась вперед, прямо на Велика. Вот она уже совсем близко, сейчас лизнет его своим раздвоенным пламенем. Велик хотел нагнуться, чтобы взять палку, но увидел злые, налитые до краев ядом казюлины глаза, вскрикнул и проснулся.

Он был весь в поту. Сердце отчаянно прыгало.

Велик долго лежал, успокаиваясь. Страшно хотелось пить. Он встал, выпил, не отрываясь, целую кружку воды. Прислушался: где-то не очень далеко глухо гудел самолет.

Ну и приснилось же, зябко вспомнить... Чтобы отвлечься, Велик стал думать про другое. Журавка, думал он, что протекает у самой дерев-

ни, — вроде и небольшая речушка, а никто в Журавкине, наверно, и не знает, где она начинается и в каком месте втекает в Навлю. Навля в два раза шире Журавки и длиннее неизвестно во сколько. Она, говорил отец, впадает в Десну. А Десна — это такая большая река, что уже на картах пишут. Десна втекает в Днепр, а Днепр — в Черное море. Даже и не представишь, какая это громадная земля — от начала Журавки до Черного моря. А сколько у нас таких речек! И на каждой — сколько деревень! На Журавке — Журавкино, Красивое Подгорье, Слобода, Колпачек и Клинское, наверно, и Соколово... А в каждой деревне — сколько народу! Немец, видно, не знает этого, а то б не полез. Ну, скоро узнает.

Кто кого сбивает

Самолет летел низко, отчетливо были видны звезды на крыльях и фюзеляже и кукольная кожаная головка летчика. Люди побросали лопаты и плетухи — на поле была вся деревня, копали картошку — и задрала головы в небо. Давно не видели звезд...

Много разного пережила и перевидала деревня за первые месяцы войны.

Перво-наперво с гармошками и плачем проводила своих мужиков. Велику врзалось в память: отец щурится, кусает губы, то и дело хлопает себя по карманам, разыскивая спички, а они зажаты у него в кулаке. Мать кидается ему на шею, он отцепляет ее, легонько отстраняет и говорит всерьез или насмешливо — не поймешь: «Что ты делаешь, Нюр? Не знаешь, что ли, есть такая примета — если провожают кого со слезами, то уж насовсем». Мать торопливо вытирает слезы, зажала ладонью рот. Отец целует Таньку, целует Велика, ерошит ему волосы: «Ну, сын, смотри, остаешься за меня». Поворачивается и уходит за подводами, а Велик с матерью и Танькой остаются на дороге.

Потом шли мимо деревни чужие мужики, такие ж забранные на войну, как отец. Пели: «Мы смело в бой пойдем за власть Советов...» Шли колонны военных, эти — молча.

Однажды прямо над деревней разгорелся воздушный бой. Два самолета — из-за высоты не разобрать было, какой чей — долго гонялись друг за другом, строчили из пулеметов. Один задымил и, снижаясь, ушел в сторону Гремячьего. Упал недалеко от этого картофельного поля, за дорогой в овсах. Оказалось — наш. От самолета остались одни обломки, и всех волновало — спасся ли летчик.

Неделю спустя провожали колхозное стадо. Шуму было! Тоскливо мычали коровы, бляляли овцы. В голос ревели, прощаясь с родными, девки, что уходили со стадом.

А потом начала готовиться к отъезду вся деревня. Распределили по дворам колхозных лошадей и повозки, сушили сухари, резали скот и солили мясо. Мать несколько раз посылала Велика в сельсовет: то узнать, как быть с зерном, то спросить, когда выезд. В сельсовете заседали Варька Будейкина — она заменила ушедшего на войну председателя, Зарян, правивший должность секретаря, Митька Агейкин и дед Евтей. Если не заседали, то кто-нибудь из них

дежурил у телефона. Наконец, выехали. К вечеру добрались до Гремячьего. Оно было пусто. Но за деревней встретился обоз — гремичинцы возвращались домой. Они тоже доехали только до соседнего села — Сычевки, и сычевские им сказали, что все дороги перерезаны. А сычевским сказали их соседи, а тем — тоже, и так эта весть по цепочке дошла от самого Карачаева, где уже хозяйничали немцы.

Решено было вернуться. Зарян верхом отправился на разведку. Через несколько дней он привез подтверждение: впереди — немцы. С тех пор Журавкино словно выпихнули из жизни страны. Перестали приходить газеты, а радио в деревне не было, из райцентра не поступало никаких указаний, вообще никаких вестей, и местная власть в лице Варьки Будейкиной перестала выполнять свои обязанности.

Первого сентября ребята собрались по привычке у школы. Дом был неухожен. В пустых классах погуливал ветерок.

Походили ребята по школе, попинали старенькую чернильницу-непроливашку, обнаруженную на полу в учительской, и подались на Пески — излюбленное место игр. Грустным был день первого сентября.

Никто ничего не знал — где наши, где немцы, что на фронте. А знать хотелось. Место фактов заняли слухи. Их было хоть отбавляй. «Новостя» рассказывались и пересказывались, слушали их жадно, обсуждали с жаром и волнением и забывали немедленно, едва начинал свою короткую жизнь более свежий слух...

Самолет пролетел. Люди глядели ему в хвост, пока он не превратился в карандашную точку. А когда оторвали от него глаза, увидели над полем небольшое облачко. Оно, колыхаясь, снижалось. Ветер раздергивал его на лоскутки, похожие на хлопья снега, рассеивал их и гнал к сосновой роще.

— Листовки! — крикнул Зарян и побежал.

Ребята кинулись вдогонку.

Велик бежал сзади: они с матерью работали у самой дороги, дальше всех от рощи. Когда он подбежал к опушке, некоторые ребята уже возвращались. Встретился Зарян. Он был поглощен чтением и Велика не заметил. Зато Степка еще издали начал размахивать листовками.

— Во, целых две!

— Пойдем еще, — позвал его Велик.

Степка торжествующе засмеялся:

— Хитер-чтоб-не-скупно-было-а-мне-куда-их-солить-все-равно-одно-и-то-же-написано-хоть-сто-штук-насобирай-больше-не-узнаешь-чеши-ищи-Змей-Колпак.

Велик не нашелся, что ответить. Он побежал дальше. В роще перешел на шаг. Обшаривал глазами землю, усеянную желтыми сосновыми иголками, поглядывал на вершины сосен — не зацепилась ли какая листовка за колючие ветки, а сам думал про другое.

Ну почему ему досталось прозвище — Колпак? Пусть бы хоть Демон. Такой кличкой он бы, пожалуй, даже гордился: «Печальный Демон, дух изгнанья, летал над грешною землей...» А как он ангелу всыпал: «Она моя, — сказал он грозно. — Оставь ее — она моя! Явился ты, защитник, поздно, и ей, как мне, ты не судья». Но Демон достался Толику лишь за то, что у него шевелюра начиналась почти от бровей. А поскольку Толик Лермонтова не читал, то кличку эту воспринял как ругательство.

Да ведь так и подбирают, чтоб было ругательно, хотя приклеивают вроде случайное, первое попавшееся слово. Как Васька стал Быком? В очередном путешествии он научился курить. Поскольку своего табака у него не водилось, собирал окурки. А называл их почему-то бычками. Чужое словцо в обиходе не прижилось, а для клички пригodiлось. Прозвали Ваську Бычком, а подрос — стали ругать Быком, забыв к тому времени, что начало вовсе не от быка. Но Васька-то все же соответствовал — хотя бы по комплекции. А к Велику никаким боком не подходила его кличка!

А как было дело? Еще во втором классе Велик пристрастился к чтению. Это было как болезнь: каждую свободную минуту он отдавал книгам — читал на переменах в школе, за обедом и ужином, днем и до поздней ночи. Придут ребята, зовут играть в мяч или в лунки — Велик не идет, просто так придут к нему посидеть — он не отрывается от книги. Кой-кому это показалось обидным. Стали с насмешкой называть его грамотеем, Велика это не трогало. Как-то Васька Ык вырвал у Велика книгу, которую тот читал, и так случилось, что это был Крылов, и раскрыл Васька на странице, где была напечатана басня «Кот и повар». Васька со вкусом прочел присутствовавшим здесь ребятам про повара-грамотея и показал им картинку, где повар делает коту внушение. Ребята посмеялись и ушли, а дня через два Степка, разругавшись с Великом, крикнул ему: «Змей Колпак! Велик сначала не понял, почему Колпак, при чем тут Колпак, а потом вспомнил ту картинку, где грамотей-повар нарисован в колпаке, и ему стало ясно. Ему бы тогда сделать вид, что эта кличка тоже не задевает, но он не смог, и кличка присохла...

Велик так расстроился, что забыл, зачем он пришел сюда, в рощу. Листовка, забелевшая прямо перед его глазами на нижнем суку старой горбатой сосны, напомнила ему об этом.

Не спуская с нее глаз, Велик бросился вперед и вдруг рухнул лицом на засохшие, но еще зеленые сосновые лапы и стукнулся коленкой обо что-то твердое и ребристое.

Перед глазами круги пошли от боли.

Очнувшись, Велик сунул руки под себя и начал пробираться между колючими лапами. Наконец, он нащупал что-то холодное, железное. Пошарил — ствол!

Велик с трудом встал, раскидал ветки. В небольшой лощинке на сосновых лапах лежал пулемет с широким и плоским, как блин, диском сверху. Лощинка не вмещала пулемет, и его приклад лежал на ее скате, ребром кверху. Об него-то и хряснулся Велик...

Он никогда еще не видел брошенного оружия, он вообще не представлял себе, как это можно его бросить. Велик зыркнул по сторонам, ожидая увидеть людей, которые турнут его от пулемета. В роще было пусто. Он прислушался. Ничего, кроме ветра.

И тогда у него дыханье сперло от радости. Вот он — целехонький, живой! Велик подергал затвор, пощелкал прицельной планкой, потрогал мушку, погладил ствол. Попробовал поднять пулемет.

Месяца три назад прогремел за деревней скоротечный бой — горстка красноармейцев пыталась задержать фашистов, дать возможность основным своим силам уйти от преследования. Вот и остался, наверное, с тех пор этот пуле-

мет в лощинке. И как его не заметили, когда потихоньку здесь же, в лесу, в братской могиле похоронили сельчане убитых воинов!..

Ага, Чесопуз! Не захотел пойти со мной, вот теперь покусай-ка локти! Это мой пулемет — я его нашел и что хочу, то с ним и сделаю.

Вспомнив о Степке, Велик с тревгой оглянулся: чего доброго, еще притащится — и торопливо закидал пулемет ветками.

«Ладно, нехай полежит пока тут. Потом перехорону получше».

Иде тебя носит? — напустилась на Велика мать, когда он вернулся на поле.

— Листовки искал, — буркнул Велик и покраснел: пулемет вытеснил у него из головы все на свете, он даже и забыл про ту листовку, за которой кинулся там, в роще.

— Знаю, что не грибы. Все уже давно работают. Тебе, что, обязательно свою надо?

«А что в листовке?» — хотел спросить Велик, но удержался: тогда мать осерчает еще больше — бегал дольше всех, да еще, оказывается, и зря. Не будешь же ей про пулемет рассказывать. Он молча начал дергать и обирать картофельные кусты.

Невыносимо болела нога. Велик украдкой заголил ее и заглянул под порточину. Коленка вздулась и посинела.

Кое-как приковыляв домой, Велик сразу залез на печку: ко всему прочему его еще и лихорадит начало.

Он задремал и не заметил, когда в хате появились двое в военном.

Они смиренно сидели за столом, разговаривали с матерью заискивающе, жадно поглядывали на толстые скибки хлеба. Один был пожилой, низенький, обросший каким-то грязным мохом, второй — коренастый, тоже небритый, но по глазам, по голосу и жестам видно, что молодой.

Пока мать у загнетки гремела посудой, пожилой, разговаривая, машинально собирал указательным пальцем крошки на столе и бережно подбирался к нарезанному хлебу. Вот уже начал поклевывать скибку. Сам он этого не замечал, а его напарник заметил, и ему, наверно, было совестно, он старался не глядеть на клюющий палец, но нет-нет и взглядывал.

Мать поставила на стол чашку, полную, с верхом, толкана — мятой картошки, положила перед каждым деревянную ложку, сама присела на конике, подперла щеку кулаком и стала глядеть на бойцов, как глядела в первый день войны на отца.

— Ешьте, — сказала она.

Но они что-то медлили, вертели в руках ложки. Наконец, пожилой спросил напряженным хриплым голосом:

— Это что ж, хозяйюшка, мы все можем съесть?

— Ну, а как же?

И тогда они заработали! Велик только ахал про себя, когда то тот, то другой откусывал полскибки хлеба и тут же отправлял в рот полную ложку толкана.

Время от времени кто-нибудь из них, спохватившись, что вот хозяйка сидит рядом и с их стороны невежливо и неблагодарно не обращать на нее внимание, начинал что-то рассказывать но дальше двух-трех невнятных слов и неопределенных жестов дело не шло.

Мать поняла, видно, что стесняет их, и ушла к загнетке.

После еды они закурили самосаду — мать дала им горсточку из оставшихся отцовских запасов. Молодой откинулся к стене и закрыл глаза. Пожилой рассказывал:

— Я к нему контуженный попал — в окопе меня засыпало. Пригнали нас в лагерь. Это на Украине. Ну, лагерь какой? Большой загон, голый, как ток, кругом колючая проволока. Большие, как конюшня, сараи. В сараях — один на одном, как спички в коробке. Раненые — через человека. Со мной рядом сидел — мы и спали сидя, некуда лечь — один молодой парнишка, совсем еще мальчик, у него рана в плечо, так он гнил заживо, потому как ни врачей, ни перевязок — ничего. Дух в сарае — ну, как... В общем, ежели человек запущен, необихожен, да к тому ж умирает... — Пожилой махнул рукой. — Не дай и не приведи господь. Как утро — выносим покойников, сваливаем в кучу прямо под дверь. Это называется уборка помещений. Потом закапываем в ямы — это уборка территории. Раз в день давали баланду — теплая грязная вода, никакого живого запаха. Пока ходишь, еще как-то пербиваешься — гоняют на работы за лагерь, по дороге, ежели удастся, схватишь в поле картошку либо капустный лист. Ну, а как свалился — все, путь одна, в яму. — Пожилой долго молчал, делая одну за другой глубокие затяжки. При каждой затяжке у него так глубоко проваливались щеки, что казалось, будто они сходятся во рту. Он докурил сигарку до самых пальцев, осторожно притушил ее и остатки табака ссыпал в тряпочку. — Господь не дал погибнуть. Удалось схорониться, как на работе были, чудом спасся.

— Не кажи гоп, доки не перескочишь, — подал голос его напарник и усмехнулся. Усмешка преобразила его лицо, Велик подумал, что этот дядька, должно быть, веселый человек, но сейчас просто до смерти устал. — Ще до своих, як до Києва рачки.

— Дойдем, не дойдем — это как бог даст, только... Кулаками буду отбиваться, ногами отбрыкиваться, зубами отгрызаться, не поможет — головой об камень, а в плену ему меня не видать.

— А вы тоже из плена? — спросила мать молодого.

Тот покачал головой:

— Ни, я з оточения... з окружения... — Он нахмурился, ему, видно, не хотелось рассказывать. — Ну що ж, хозяйка, спасьби, що накормила, напоила, накурила... А чи не могла б ты нас и переодягты?... Ну, одежда, може, якась старенька завалаясь. Бо в шинелях нас швидко приберуть до рук. Зацапают в той лагерь.

— Да одному-то, может, найду что ни то, не зипун так полушубок, — сказала мать и вздохнула. — Где-нибудь и мой, наверно, вот так-то... — Она достала с приступка отцов полушубок («На чем же я спать теперь буду?» — подумал Велик), поглядела на одного, на другого и протянула молодому: — Ну, бери хоть ты, что ли... А тебе... подожди-ка, я сейчас.

Мать вышла и скоро вернулась вместе с седом Митькой Агейкиным.

— Здравия желаю, товарищи бойцы! — голос у Митьки быд зычный, здоровый, просто удивительно, как может быть такой голос у большого человека с узкой впалой грудью. — Так кому оденка-то нужна? Тебе, папаша? — Митька быстро

снял новенький черного сукна ватный пиджак с бараньим воротником и бросил пожилому. — Держи. Хороший бекеш, всего и надетый-то — поверишь, нет? — раз десять. Ладно, сам был на вашем положении, знаю.

— Ты что ж, ай тоже с фронту? — спросил пожилой, примеряя пиджак.

— Ну, а как же! Видишь же, здоровый мужик, хоть поросят бей об лоб... Что, тесноват? Ничего, разносится. Зато длинен, тепло будет... С первого дня на фронте — поверишь, нет? Лулил немца в хвост и в гриву, аж пыль столбом.

Велик даже рот раскрыл. Ну, пускай бы брехал им один на один, они ж не знают, что Митьку по болезни не приняли в армию, говорят, у него чахотка. Но как он не боится при матери, она ведь и опозорить может.

— А в каких местах довелось воевать? — спросил пожилой.

Митька махнул рукой:

— Да во всяких... А что, штаны тоже нужны? Нюр, отвернись-ка... Ну, вот, порядок, теперь тебя — поверишь, нет? — собственный командир не узнает, не что немец... — Митька натянул на свои длинные ноги красноармейские шаровары. Они были ему по колено, а на задку пузырились. — Ну, как там на фронте? Новостя какие-нибудь есть?

— Откуда ж? Идем все больше лесами, а и в деревню зайдешь — никто ничего не знает, вот как и у вас.

— Ну, это ты, папаша, напрасно. Мы тут не в темноте сидим. Вот нынче — поверишь, нет? — листовки самолет нам сбросил. Красная Армия ведет успешные бои на энском направлении. Убито и ранено две тысячи гитлеровских солдат и офицеров, сбито десять самолетов, уничтожена всякая другая военная техника. Ну, а я лично, например, и еще кой-откуда новостя добываю. — Митька многозначительно прищурился. — Самая последняя: американцы захватили Берлин.

Некоторое время все ошарашенно молчали. Потом пожилой сказал увещевающе, ласково, как закапризничавшему больному:

— Ну, что ты, бог с тобой. Где Америка, а где Берлин.

— Десант скинули, папаша, десант. Две тысячи самолетов — поверишь, нет? — налетели, в каждом по двадцать человек.

— Ну, добре, — прервал Митьку молодой. — Спасьби, хазяйшко, за хлиб-силы, за оденку та ласку, посунемось дали.

— Я гляжу, вы сумлеваетесь, — обиженно сказал Митька. — А я — поверишь, нет? — вот этими своими, — он тронул себя за ухо, — слышал по радиву.

— Хохол повирить, якцо руками помацае. — Молодой пошел к двери, застегивая полушубок.

— Дай-то бог, дай-то бог, — опять как для успокоения больного сказал пожилой. — Охо-хо, мать-заступница. Идти надо.

Он, кряхтя, встал, поклонился матери. По лицу его было видно, что ему страсть как не хочется уходить из теплой хаты на ночь глядя. В длинном узком Митькином «бекеше» со спины он был похож на пацана в отцовском пиджаке, и Велику стало совсем жалко его. Когда они вышли — и Митька вслед за ними, накинув на плечи старую вытертую шинель пожилого, — Велик накиннулся на мать:

— Что ж ты полушубок-то тому отдала? Он молодой, а дед же старый.

— А у того, сынок, шинелка поновой.

Утром мать никак не могла добудиться Велика. Она трясла его, перекачивала с боку на бок, сажала и даже ставила на ноги, а он спал и спал.

— Не ребенок, а чертенок,— ругалась мать.— Просидит всю ночь с книжкой, а потом его не поднимешь. Мало ему дня — ночью глаза портит. Ишь, целый пук насколпал лучинок-то, запасся. Я вот возьму твою лучину да в печь и задвину, как раз растапливать пора.

— Ну да, в печь,— открыл глаза Велик.— Попробуй только. Я тогда всю твою пеньку пожу, поняла?

Мать всплеснула руками.

— Ну не ирод ли? Пеньку! Да без пеньки ты будешь перед всей Европой светить голой полой, в магазине-то порток не купишь... И что это ты моду взял матери грозить? И как ты со мной разговариваешь? Я тебе что, подружка?

Велик промолчал: мать в последнее время что-то быстро закипала, и он по голосу научился угадывать, когда она начинала сердиться. Тут уж лучше нишкни, а не то и по затылку схлопочешь.

Он соскочил с приступка, умылся над лоханкой, смиренно спросил:

— Ма, а ты чего меня будила? Что мне делать?

Мать уже остыла.

— Сходи-ка, сынок, на тот конец, к Дарье Глухой, возьми у нее сито, вчера я у ней просила. К Октябрьской я вам лепешек напеку — ешьте, лежа на боку.

Велик вышел из хаты и тотчас вернулся — одеться: на улице накрапывал дождик.

Наверное, он сеялся всю ночь: дорогу развезло, пришлось идти по щиколотку в грязь. Болела коленка, но сегодня уже не очень, идти можно было.

По дороге к нему пристал Степка — увидел из окна и выбежал. Хмыкая носом, пошлепал рядом.

— Нашел листовку? — спросил он.

— Ага. Пять штук.

— Может, десять?

— Не, пять. Не было времени, а то можно было сколько хочешь собирать. В роце их полно.— Вспомнив про пулемет, Велик спохватился: — Сейчас-то нет, дождем размыло, понял?

— Не-звени-подвинься! — Но поспорить Степке не удалось: он поскользнулся и хлюпнулся в грязь коленками и ладонями.— Змей-Колпак-из-за-тебя-портики-замазал.

Велик дал сдачи за «змея» и ускорил шаг. А Степке пришлось остановиться, чтобы почистить портики.

Велик подзадержался у Дарьи — с глухим самым пустячным разговором можно вести целый день и ни до чего не договориться. У Велика уже хрипело в горле, когда Дарья, наконец, дала ему сито.

— Ты ж гляди,— прокричала она,— чтоб нынче ж и принес, да не порвите, а то такого мелкого сита ни у кого в деревне нет, фабричное, еще покойный тятя из городу привез.

— Принесу, куда денется! — прохрипел Велик.

— А? — Дарья приложила ладонь к уху.— Что он там делал? Сено возил продавать, сено! Пеструшку-то прирезать пришлось — опои, вот сено и осталось. Покойница мать и говорит...

Дарья сделала паузу, припоминая, что в точности сказала покойница мать покойнику отцу; Велик сделал вид, что воспринял ее молчание как конец рассказа. Прощально мотнув головой, он проворно юркнул за дверь.

На улице, спрятавшись под стрехой от дождя, ожидал Степка.

— Тебя-только-за-смертью-посылать, — почесывал живот, пробубнил он.

— Ну и не ждал бы, понял? Никто не просил. Степка — видно было по его нахальной роже — собирался утверждать, что Велик именно просил, но вдруг в глазах его плеснулось изумление.

— Глянь-ка! — Он показал в сторону поселка Красивое Подгорье, видневшегося примерно в километре.

Поселок стоял действительно «под горой» на склоне низины. Сейчас на дороге около его крайних хат показалась колонна машин. Вот голова ее приблизилась к мосту через Журавку, вот первые машины перебрались на этот берег, и стало слышно гудение моторов. Сначала долетели отдельные, прерывистые звуки, похожие на отдаленное жужжание шмелей, потом они слились в рокот — пока еще слабый и рыхлый, — он все крепчал, густел, наливался звонкой упругостью. И вот уже, разбрызгивая грязь, покатылся, минув деревню, крытый брезентом грузовик, за ним второй, третий, два мотоцикла, каждый о трех колесах, таких ребята никогда не видели, легковушка, еще грузовик, еще, и конца им не было видно.

В машинах ровными рядами сидели солдаты в зеленой — не нашей — форме, с трехцветными кружками на пилотках. Они смеялись, пели, жевали, выбрасывали на дорогу пустые консервные банки, сигаретные и папиросные пачки, конфетные обертки.

— Может, это американцы? — неуверенно сказал Велик.— Митька Агейкин говорил...

К удивлению, Степка не стал спорить, даже согласился:

— А — что — сколь — красного — цвета — у — них — на — кругах — и — на — треугольниках — а — фашисты — красного — не — любят — и — свастик — нет.

— Верно! А ты заметил — у них все продукты наши? Глянь, что на банке написано: «Сельдь в томатном соусе», а вон пачка из-под «Беломорканала». Фашистов наши снабжать не будут, понял?

Дождик не переставал. Дорога превратилась в сплошное месиво, и машины не бежали уже с прытким подскоком, как сперва, а ползли, натужно завывая и пробуксовывая на самых разбитых участках.

Невдалеке от хаты застрял мотоцикл. Солдат после нескольких напрасных попыток самостоятельно вырваться из грязи оглянулся по сторонам и, заметив ребят, призывно замахал им рукой. Он кричал что-то отрывисто и резко, как будто командовал.

— Просит подсобить, — сказал Велик и, как бы извиняясь перед Степкой за командный тон солдата, добавил: — Это у них, у американцев, язык такой: как будто они все время ругаются, понял?

Они подбежали к застрявшему мотоциклу и принялись толкать. Мотоцикл визжал, как недо-резанная свинья, швырял в ребят осметками грязи, но с места не трогался. Солдат оборачивал к ребятам мокрое лицо, кричал и показывал

жестами: мол, сильней, сильней, какого черта! Все ж ему пришлось самому прыгнуть в грязь, и втроем они вытащили мотоцикл. Солдат влез в седло и, даже не оглянувшись, поехал дальше.

Друзья молча вернулись под стреху. Пока они возились с мотоциклом, сюда набилось изрядное количество народу — ребятня со всей деревни.

— Подмогнули? — спросил Зарян насмешливо. — Ну, молодцы.

Степка обиженно похмыкал носом.

— Это - американцы-вон-погляди-на-машинах-ни-одной-свастики-наши-консервы-едят.

Зарян сузил глаза...

— Я тебе скажу только одно...

Но сказать он ничего не успел: с дороги свернула машина и остановилась у Дарьиной хаты. Из крытого кузова ссыпались солдаты. Они разминались, закуривали. Один из них — с узким лицом и белыми бровями — подошел к ребятам, сделал смеющееся лицо и моментально переделал его в свирепое. Получилось очень смешно. Настороженность исчезла, ребята посмелели.

Васька Бык подошел к одному из солдат и осторожно снял у него с рукава репей. Солдат, не оборачиваясь — он стоял спиной к Ваське, — небрежно и коротко отмахнул рукой, и Васька, отлетев, влип в стенку. Сначала никто ничего не понял — так не похожа была эта ленивая, мимоходом, отмашка на удар, да и за что бить-то? Но у Васьки из носа и из губы бежали струйки крови, и уже в следующий момент Велик увидел, что у ребят окаменели лица и округлились глаза, и сам почуствовал, как у него натянулась кожа на скулах. Страшное было даже не в том, что вот ударили Ваську, а в непонятности и необъяснимости этого, в том, что солдаты не руководствуются обычной человеческой логикой и невозможно предугадать, что сделают они через секунду, через минуту, через полчаса. Может, они сейчас возьмут да перестреляют всех ребят по той же самой непонятной нормальному человеку причине, по какой стукнули Ваську.

Ребята стояли у стены, как припиленные. Один Зарян не поддался страху — он вытирал Ваське лицо рукавом рубахи.

Велик покосился вправо. Он заметил, что стоявший крайним Демон перебирает ногами — как будто от холода, а сам все ближе и ближе подбирается к углу хаты. Вот он воровато стрельнул глазами и проворно юркнул за угол. Этот маневр вознамерился, видно, повторить Шурка Исаев, ставший теперь крайним.

Солдаты не обращали на ребят внимания. Они курили и, поглядывая в сторону Красивого Подгорья, перебрасывались какими-то фразами. Только белобровый время от времени оборачивался и откалывал смешные шутки — косоротился, выкатывал глаза, надувал щеки, шевелил ушами. Никто не смеялся. Вдруг он воскликнул что-то, как будто чему-то удивившись, быстро подошел к Велику и взял у него из рук сито.

— О, карош... Рус малшик, — он ткнул Велика в грудь, — дала дойче золдат на... — пощелкал пальцами, — на не забывать меня.

Велик похолодел: да с него мать три шкуры спустят за чужое сито!

— Дядь, это не наше, — сказал он тоненьким голосом. — Это Дарьино.

— Дойче зольдат дала рус малшик на не забывать меня... — Солдат порылся в кармане и вытащил квадратную конфетку.

— Дядь, отдай сито. — Велик заложил руки за спину, показывая что на обмен не согласен. — На что вам?! Мне попадет!

Солдат большим и указательным пальцами надавил на Великовы щеки и когда у того разомкнулись губы, впихнул конфетку — прямо с оберткой — ему в рот.

— Ам! — Белобровый почмокал губами, изображая, что сосет конфету и закатил глаза. — Ммм... карош!

В это время по дороге прополз мотоцикл на трех колесах, с него что-то прокричали и помахали рукой. Один — с серебряными нашивками на погонах — подал какую-то команду, и солдаты полезли в кузов. Машина укатила вслед за мотоциклом.

К Велику подошел Степка. Рыжее лицо его было как раскаленное железо.

— Американцы-американцы-вот-как-свистну-сейчас-по-уху-змей-Колпак!

Наверно, он и «свистнул» бы — злость прямо-таки сочилась из него. Но Велик и так был как побитый. Он в недоумении вертел в руках конфету и шепотом повторял написанное на обертке:

— Кис-кис, кис-кис...

Велик не заметил, когда разбежались ребята. К нему подошел Зарян, взял у него конфету и швырнул ее в грязь.

— Пошли домой, нечего тут мокнуть.

Некоторое время Велик молча шлепал по грязи вслед за Заряном, потом, словно очнувшись, сказал:

— Коль, про американцев это Митька Агейкин вчера говорил.

— Нашел кому верить.

— Да я не очень-то и поверил. А вчера у нас двое окруженцев были. Такие голодные, и так их жалко. Рассказывали: много наших в плену и в окружении... А немцы вишь вон какие мордастые и песенки поют. Я нынче как увидел их, думаю: ну, не может же этого быть! Наверное, все ж Митька не все сбредал, думаю.

— Я тебе скажу только одно: от правды хорониться — самое последнее дело. Самому ж хуже будет.

— Коль, ну, а чего ж это так получилось? Наши и в плен попадают, и шинели меняют по деревням, и пулеметы кидают.

— Какие пулеметы? — Зарян остановился.

Поколебавшись, Велик сообщил о своей вчерашней находке в Гремячнской роще.

Зарян цапнул Велика за плечо и резко повернул к себе. Серые глаза Заряна стали стальными и острыми.

— Ну-ка, веди!

Велик хотел было сказать, что его ждет мать, он и так уже вон сколько зря проболтался, но понял: если сейчас откажется, навсегда потеряет доверие Заряна. Да и к матери идти все равно не с чем, не стоит и подворачиваться под горячую руку: насчет ситечка она уже наверняка знает...

К Гремячнской роще они шли нижней дорогой, которая пролегла как раз по границе песков и сухого болота, параллельно верхней, по которой сейчас двигались войска, километрах в трех от нее.

Велик едва поспевал за Заряном. Тот шагал быстро, не обходя лужи. У него был вид



человека, который отлично знает, куда и зачем идет и которому надо спешить.

Когда они пришли в рощу и Велик показал ему, где пулемет, Зарян быстро раскидал ветки, взвалил пулемет на плечо и, по-прежнему торопясь, потащил его на опушку. Он остановился у одной из крайних сосен, огляделся, что-то заметил справа и направился туда.

Немного на отшибе стояли рядом две старые сосны — так близко друг к другу, что их кроны переплелись. Зарян поставил пулемет между деревьев, лег за него, широко раскинув ноги и вывернув их носками врозь. В этом был какой-то неувольнимый военный шик, и Велик, плюхнувшись рядом, попытался воспроизвести эту позу, но у него ничего не получилось — ступни не выворачивались и норовили стать торчмя, пятками вверх.

Велик глянул в окно между соснами и обомлел. Отсюда местность шла на понижение, они с Заряном видели далеко-далеко. И первое, что сразу бросилось в глаза, — отчетливая и близкая, совсем рядом, лента верхней дороги с плывущей по ней бесконечной колонной машин.

Зарян щелкнул затвором. Велик вцепился ему в локоть. Неужели он... Что ж это будет?! Раздался звонкий щелчок. Велику показалось, что бухнул колокол, немцы там, на дороге, конечно, услышали...

Зарян толкнул Велика локтем в бок.

— Не тряпись, он незаряженный.

Уткнув локти в песок и спрятав лицо в ладони, Зарян долго лежал неподвижно. Наконец, он сказал, не поднимая головы:

— Про пулемет — никому ни слова. Я достаю солидол, ты большую тряпку — мешок там или еще что. Завтра придем сюда, смажем, завернем и закопаем. И будем добывать патроны. Ясно?

Велик кивнул: со страха ли, от холода на него напала икота, и он не в состоянии был произнести и слова. Зарян поднял голову, глянул на него, улыбнулся.

— Ладно, хватит тебе... А глянь-ка сюда — правда, хорошую позицию выбрали? Видишь, тут дорога выгибается дугой, так что если влево поведешь огонь — получится лобовой удар, если прямо — во фланг врежешь, а вправо — получишь, собака, по заднице. Ну, как? — Не дождавшись ответа от Велика, Зарян ответил сам: — Я тебе скажу только одно: хороша позиция, не каждый военный сумеет такую выбрать.

На лице его появилось горделивое выражение, в голосе прорезалась хвастливая нотка. Велик знал, что Зарян любил все военное, читал и собирал книги, где описывалось, как устроена армия, как вооружена, как надо наступать, держать оборону, командовать. Как-то Велик попросил у него что-нибудь почитать. Зарян привел его к себе и кивнул на самодельную полку, уставленную книгами: «Выбирай». Велик полистал одну, другую — нет, не по зубам ему. Так и ушел ни с чем.

Занятый всякими комсомольскими делами, Зарян редко участвовал в играх сверстников и ребят помельче, но уж если затеивалась игра в войну, он был тут как тут.

— Коль, а Коль, а чего ты не попросился на фронт? — спросил Велик.

Зарян покосился на него неприязненно.

— А кто это тебе сказал, что я не просился? Я, к твоему сведению, три раза ездил в во-

енкомат. Ребятам выдали винтовки и зачислили в истребители. Ванька Малов мне по секрету сказал: «Будем ловить десантников, а если придут немцы — пожалуйста, готовый партизанский отряд». А мне шиш под нос. Ходил я по всем начальникам, ребята за меня хлопотали. И слушать не хотят: мал — и точка...

Вдруг ни с того ни с сего Зарян спросил:

— Кто кого сбивает — Степка тебя или ты?

У ребят — от самых маленьких до мужиков — существовал своего рода табель о рангах — неписанный, разумеется, в основу которого был положен принцип — «кто кого сбивает», — кто сильнее. Места в этом табеле добывались в многочисленных состязаниях и драках. Кто чаще побеждал, тому присуждалось место впереди. Не голосованием присуждалось, а просто все видели, что человек сильнее, и так считали. И это был закон. Поэтому Велик ответил Заряну спокойно, почти равнодушно:

— Степка.

— А бывало так, что ты его побеждал?

— Сколько раз! На той неделе ему надавал.

— Ну вот, видишь, а сбивает-то все равно он, верно? Я тебе скажу только одно: сейчас немец нам надавал, а победил все равно мы. Потому что мы его сбиваем, это проверено.

От этого объяснения у Велика спокойнее стало на душе. Хотя и не понравилось, что Зарян сравнил Велика с немцами, а Степку с нашими.

Великово подполье



Велик выдался, каких еще не бывало нынешней зимой. Перед этим двое суток вапал снег, густо, крупными хлопьями, так что в двух шагах ничего нельзя было разглядеть. А нынче небо было чистое и солнышко пригревало — не жарко, но ласково.

Велик шел по снежной целине, расстегнув верхние палочки зипуна. Он поглядывал на солнце и блаженно жмурился. Вдруг что-то стукнуло его по затылку. У Велика свалилась шапка, за шиворот посыпались холодные крошки. Он оглянулся. Шагах в десяти стоял Степка. Скалясь, он лепил новый комок. Велик быстро схватил пригоршню снега, подавил его в ладонях, а снег был влажный, лепился хорошо — и запустил в Степку.

Вскоре к Степке присоединился Толик Демон, а к Велику — Шурка Исаев, подбегали еще ребята, Манька Гомонок привела целую ораву девок — и закипело сражение. Силы были равные — девчонки тоже разделились на две группы. Правда, одну армию возглавил Зарян, и не Ваське Быку, командовавшему супротивным войском, было тягаться с ним в храбрости, ловкости и в командирском деле. Но у Васьки помощницей была Манька Гомонок, боевая девчонка.

— Вперед! — кричала Манька. Платок у нее сбился, толстые косы выползли из-под зипуна и метались за спиной, волосы на голове были пересыпаны снегом. — Смерть Заряновым оккупантам!

Впереди большой оравы орущих пацанов и визжащих девчонок она ринулась в атаку. Заряново войско дрогнуло и стало отходить.

— Ни шагу назад! — завопил Велик, которого Зарян поставил командовать этим флангом.

Крепким снежком Велик залепил приближавшейся Маньке прямо в лоб, целый град комьев обрушился на нее из-за Великовой спины, но это не остановило Маньку, а только разъярило. Она добежала до Велика, ткнула его носом в сугроб и затолкала за шиворот целую горсть снега.

На помощь подоспел Зарян. На Маньку сосредоточился огонь всей заряновской армии, и Манька, отбиваясь, нехотя начала отступать. Маньку и Ваську с их войском теснили до самого конца деревни.

В пылу сражения никто не заметил, когда в деревенскую улицу въехала машина.

И когда кто-то крикнул: «Немцы!» — двое солдат уже стояли возле Маньки, один держал ее за руки, а другой что-то возился за спиной. Не приближаясь, Велик зашел сбоку и увидел, что тот, другой, левой рукой держит Манькины косы, а правой орудует бритвенным лезвием.

Манька рванулась. Задний немец прикрикнул на нее — без зла, добродушно-ворчливо, как хозяин на овцу, когда стрижет ее, — а тот, что держал Маньку за руку, схватил ее в охапку, прижал ее руки к бокам и сдавил ноги своими сапогами. Ей нельзя было и шевельнуться. Велика поразило Манькино лицо. Обычно воинственное, с сердитым прищуром глаз, сейчас оно стало беззащитным, умоляющим и — как у всех девчонок, когда им стыдно.

Немец отчекрыжил у Маньки косы, хлопнул ладонью по зипуну пониже спины, и она побежала быстро-быстро, низко нагнув голову и ни на кого не глядя. На затылке, там, где начинались ее толстые косы, сейчас смешно торчали два помятых неровных пучка.

И хотя Манька совсем недавно здорово оттрепала Велика и у него не прошла еще обида, он не чувствовал злорадства. Наоборот, ему было до слез жалко Маньку, и унижительно было смотреть, как ее позорили и как она из атамана превратилась вдруг в обычную девчонку, нуждающуюся в защите.

— Змей-фашист! — не помня себя крикнул Велик.

Голос у него был тонкий, дрожащий, да еще и сорвался. В другое время из-за этого девчачьего писка ребята подняли бы его на смех, но сейчас никто даже не хмыкнул. Только Васька Бык подбежал и ткнул кулаком в бок.

Лупастый немец в это время положил в кабину Манькины косы и направился к ближайшей хате. Услышав Великова выкрик, он остановился, вскинул автомат и предупреждающе воскликнул:

— Пу! Пу!

— Безусловно, — сказал Васька Бык. — Ты что, хочешь, чтоб из-за тебя всех нас, по крайней мере, ликвидировали?

Из хаты, к которой направлялся немец, вышел Кузя Единичник. Он был в хлопчатобумажном пиджачке, мятом, зато новеньком, еще ненадежным, видно, только что из сундука, в начищенных сапогах гармошкой, без шапки. Жидкие рыжие волосы его были аккуратно расчесаны на пробор и блестели. На протянутых руках Кузя держал расшитый рушник, на нем лежала коврига хлеба, на верхней корке белела маленькая кучечка соли — чистой, настоящей, а в деревне давно уже все сыпали в варево горькую желтую, да и ту доставали с трудом. Кузя шагал медленно, торжественно, высоко вскидывая ноги, и на толстом ржаво-рыжем лице его

играла праздничная улыбка. Немцы — их было четверо, не считая шофера, который сидел в кабине, — сгрудились позади лупастого и, громко переговариваясь, посмеиваясь, с любопытством смотрели на приближающегося Кузю. Остановившись в двух шагах от лупастого, Кузя щелкнул каблучками, приосанился и сиплым голосом заосклицал, как на митинге:

— Дорогие наши ослобонители! Дозвольте от всего крестьянства поздравить вас, что вы пришли в нашу деревню, и сказать, стал-быть, спасибо, что вы ослобонили нас от сурозого гнету, а мы вас заждались. Вытекая из этого положения, дозвольте поднести вам хлеб-соль и добро к нам пожаловать.

С низким поклоном Кузя протянул лупастому ковригу. Тот взял ее вместе с рушником, не оборачиваясь, передал назад солдату и похлопал Кузю по плечу.

— Зер гут!

— Милости прошу в гости! — Кузя сделал пригласяющий жест в сторону своей хаты.

— О, я! Шнапс... водка... иметь?

— Ну а как же без этого? — осклабился Кузя. — Что полагается для дорогих гостей — все имеем. И первачок, стал-быть, и чем загрызть, чин чинном.

Кузя мелко засеменил к хате. А из-за хаты навстречу ему вышел шестипудовый боров. Благодарно похрюкивая, он вперевалку направился к дороге.

Завидев борова, лупастый что-то коротко сказал через плечо, а сам двинулся за Кузей. Солдат, который держал хлеб, поспешно обмотал ковригу рушником и кинул в кузов. Снял с плеча карабин, щелкнул затвором и направил на борова.

С Кузи как рукой сняло праздничность, торжественность и деликатность. В два прыжка он очутился перед солдатом и, отводя в сторону ствол карабина, начал втолковывать.

— Нельзя, пан, стрелять, это мой боровок. Мой, стал-быть, понимаешь? — Указательным пальцем Кузя показал на борова, большим пальцем ткнул себя в грудь. — Мой!

— Цурюк! — прикрикнул немец и еще что-то добавил.

Но Кузя не понял и продолжал убеждать немца, что друзей обижать нельзя, это не по справедливости, а нужно мясо, так есть тут у кого взять — активисты разные, красноармейские семьи. Немец отпихивал Кузю, но был он мал и хил, и его толчки широкоплечему, коренастому, налитому силой Кузе были все равно что детские щелчки.

Видно, лупастому надоело это — он вскинул автомат и дал короткую очередь по борову. Тот взвизгнул и упал. Подбежавшие солдаты, кричась, потащили его к машине. Кузя бросился к ним, но лупастый загородил ему дорогу. Тыча в грудь автоматом, он угрожающе сказал:

— Пу! Пу!

— Да как же это?... — Кузя взглянул на побаролевшее лицо лупастого, на его выпученные, будто прищепленные к плоскости глаза, в отчаянии махнул рукой и поплелся к хате.

— Дозвольте от всего крестьянства поздравить вас! — крикнул ему вслед Зарян.

Кузя не обернулся, может, он даже и не услышал.

Вчера Зарян велел прийти Великому, сказал, что

возьмет его с собой на Серой луг — в той сторо-



не ночью гудел самолет и надо поискать, может, листовки скинул.

— Только никому ни звука,— предупредил он.— Безвластие, видно, кончается, скоро немцы нам свою власть посадят. Сбрехнет кто-нибудь про листовки... В общем, пора уходить в подполье.

У Велика от этих слов засосало под ложечкой— сколько он ни читал про подпольщиков, всех их рано или поздно арестовывали и пытали, а он до жути боялся пыток. И скажи это кто-нибудь другой, он, может, и заколебался бы со страху, но раз Зарян сказал... Причем не предложил и не спросил согласия, а просто, как будто они давно обо всем договорились, напомнил: пора. Тем самым Зарян как бы зачислил его в свои самые ближайšie друзья— ведь только близкому другу можно доверить такое.

...Велик шел по улице замедленной тяжелой походкой, ссутулив плечи и опустив голову, не глядя на обычную жизнь окрест себя. Глядеть вниз было ему к тому ж приятно— украдкой от своих возвышенно-значительных мыслей он лю-

бовался новенькими лапоточками, первыми лаптями в своей жизни, которые он сплел сам.

У хаты деда Евтея толклись ребята. Велик исподлобья обвел их глазами— Заряна не было— и продолжал путь. К нему подбежал Степка.

— Ты-что-это-проходишь-мимо?

— Некогда, спешу, понял?

— Куда?

— Да тут... по делу.— Велик не останавливался.

Его уклончивые ответы, весь его нахохленный-важный, таинственный вид разожгли Степку. Он шел рядом и, пытаясь сбоку заглянуть Велику в лицо, продолжал допытываться:

— По-какому-делу?

— По-одному.

Степка понял, что ничего не добьется.

— Глянь какой!— сказал он презрительно.— Ну-и-катись-а-тут-поинтереснее-Кузя-Единоличник-и-Иван-Баян-с-винтовками-идут-по-деревне-заходят-в-хаты-страшают-сейчас-к-Евтею-зашли.

В это время дверь Евтеевой хаты распахну-

лась, и на улицу вывалился Кузя Единоличник. За ним, по привычке поддергивая портки, вышел дед Евтей — в рваном зипуне, накинута на плечи, без шапки. Налетевший ветер взметнул необхожденную копну на его голове и начал трепать изжелта-белые, не поймешь, седые или просто выцветающие волосы. Шестие замыкал Кузин брат Иван Баян — высокий, сутулый. В отличие от Кузи, у которого винтовка висела за плечом, Иван держал свою в руках.

— Стой, дед, тпру! — громко сказал Кузя, и сразу стало ясно, что он пьян. — Давай побалакаем на виду у всей деревни, штыба ясно было, кто, стал-быть, куда... — Кузя повертел ладонью в воздухе. — Первый такой мой вопрос. На каком таком основании три твои сына воюют в Красной Армии?

Дед Евтей, поджарый, подвижный, затанцевал на месте, то порываясь к Кузе, то делая шаг другой к Ивану, то словно беря разбег к ребятам.

— Да ты что, Кузя? Ай не допил? — Голос у Евтея был высокий, с гундосинкой, дед как из пулемета сыпал короткими фразами. — Гляньте-ка на него, люди добрые! Сыны мои взятые на войну. Законной властью. Как все.

— Ага, большевики, стал-быть, — законная власть! — торжествуя сказал Кузя. — А я, волостной старшина, выходит дело, для тебя незаконный? Он вот — староста твоей деревни — незаконный? А? Ну-ка, что скажешь, дед?

Кузя подбоченился и склонил набок голову, ожидая ответа. Он со злорадством наблюдал за дедом Евтеем, который подпрыгивал, подтанцовывал, поддергивал портки. Наконец, Евтей все-таки нашелся:

— Для нас вить как? У кого в руках палка, тот и законная власть. Нынче палка у вас.

— Ну, ладно, дед, вывернулся. Ты прав, с тебя пол-литра... А насчет сыновей... — Кузя пренебрежительно махнул рукой. — Все равно от них большевикам полъеза как от козла, стал-быть, молока. Вон куда драпанули.

— Д-д... до с-с-с... сам-м-м... мог-г-го Б-б-б... Байк-к... кал-л-лу, — разродился Иван. Лицо у него от напряжения налилось кровью, он тяжело дышал. Еще когда Иван был маленький, какой-то злой деревенский остряк пошутил: «Ванька говорит — ну прямо как баян играет». Так с той поры и прозвали Ивана Баяном. Вот ведь хорошее слово баян, а для Ивана не было ничего обиднее и ненавистнее.

У деда лицо пошло пятнами. Он подпрыгнул и застрочил тонким голосом:

— Драпают, черти! Может, и до Байкала! Вам виднее. Только не все ж и драпают. Вон под Москвой-то! Наломали панам бока.

— Что-о? — Кузя схватил Евтея за грудки. — Придется все-таки стаскать тебя в волость, старый лапоть. Поговорить с тобой по душам. Штыба, стал-быть, душу из тебя вытрясти. Листовки большевистские читаешь, красноармейская рожа?

— Б-б-б-б... — забубнил что-то Иван, но Кузя с досадой махнул на него:

— Нишкни!

Он сильно тряхнул деда. У Евтея, как у неживого, туда-сюда замоталась голова.

Велик схватил мерзлое конское яблоко и запустил в Кузю. Хрясь! Велику показалось, что у Единоличника треснула челюсть, такой был звук. Кузя выпустил Евтея и, схватившись за скулу, повернулся к ребятам.

— Пли! — крикнул Велик, и в Кузю полетели снежки, ледышки, конские яблоки.

Увесистый комок льда угодил ему в бровь. Кузя вскрикнул, выматерился и ринулся на ребят. Те сыпанули в разные стороны.

Велик несся прямо по середине улицы. Лапоточки у него были новенькие, твердые, зипун старенький и короткий, не тянул, и бежалось ему легко. Но, видно, он сделал ошибку, что побежал по улице, а не свернул за угол, как другие, — Кузе с Иваном тоже не хотелось соваться на зады, в сугробы, и они оба кинулись за Великом. А впрочем, может, они приметили, что первый «выстрел» по Кузе был Велика и командовал он, и решили изловить именно его.

Кузя был тучен и приотстал; зато у долговязого Ивана ноги были — на двоих. На один его шаг Велику требовалось сделать два, а то и больше. И как ни прытко перебирал он ногами, оторваться от Баяна не смог. Цепкие пальцы впились ему в плечо, придержали и тут же отпустили. Велик ткнулся носом в наезженную до блеска дорогу.

Велика рванули за шиворот и поставили на ноги.

— В-в-в... — хотел что-то сказать Иван, но после гонки не смог одолеть даже первого слога и молча показал на Велика рукой подбежавшему брату: полюбуйся, мол.

— А, володинский, стал-быть, грамотей! — сказал Кузя сквозь зубы. — Избачов выродок, с-сукин с-сын!

Он схватил Велика за уши и крутанул. У Велика крик застрял в глотке — такая сильная была боль. Не выпуская Великовых ушей, Кузя повернул его к себе спиной и изо всей силы ударил выступком. Велик описал траекторию и шмякнулся лицом и животом на дорогу. Боясь, что Кузя набежит и даст еще, он рванулся, хотел вскочить, но нижняя часть тела стала как чугунная, Велик не смог оторваться от земли и по полз, перебирая одними руками.

— Во-во, учись ползать, червяк! — сказал Кузя Единоличник и засмеялся.

Услышав эти слова и смех, Велик подумал, что сейчас люди смотрят на него в окна, а ребята из-за углов, и тоже, наверно, смеются — это ж смешно, как он тут ползет, и вправду как червяк, — и перестал ползти, опустил лицо на гладкую санную колею и затих.

Велику до тошноты надоело болеть — лежи и лежи, как проклятый. Он перечитал свою небольшую библиотечку, выучил наизусть «Кому на Руси жить хорошо». Вырезал из березовой и еловой коры корабли русского и японского флотов, разыгрывал морские сражения по «Цусиме» Новикова-Прибоя.

Почти каждый день приходили ребята. Перебивали все, даже те, с кем он не водился, даже — с кем был на ножах. Велик боялся, что будут насмехаться, как он летел от Кузино сапога, растопырив руки, а потом полз червяком — в деревне не очень-то щадили неудачливых и злосчастных, особенно ребятки. Но никто и не заикнулся про Великов позор, как будто ничего и не было, а просто Велик заболел, ну, скажем, воспалением легких. Даже Васька Бык и тот — ни слова о Кузе, посидел, рассказал, как он когда-то в Харькове на товарной станции подрался с тамошними ребятами.

К величайшему изумлению Велика, заявила Манька Гомонок. Вообще-то она пришла занять «фунтик хлебушка» и на Велика не обращала внимания: обсудила с матерью деревенские новости, поговорила с Танькой, полистала лежавшую на столе книгу «Грач — птица весенняя». Но, во-первых, жила Манька довольно далеко от Володиных и до этого к ним не ходила — ни так, ни по делу; во-вторых, уходя, она забыла про хлеб, и Великовой матери пришлось бежать за нею, чтобы вручить отвешенный каравай, а в-третьих, она принесла гостинец — моченых груш, и это больше всего остального подчеркнуло необыденность, особость Манькиного появления.

Велик тоже делал вид, что Манькино присутствие его не касается. А сам нет-нет да и выглядывал из-за книги. Он заметил, что волосы у Маньки выровнялись и подросли. Правда, до кос еще было далеко, но на хорошую прическу волос уже хватало. А прическа, как показалось Велику, очень шла к Манькиному скуластому лицу. И еще заметил Велик, что Манька тоже время от времени зыркает в его сторону: раза два они встретились глазами...

Больше двух недель пролежал Велик, а когда встал — побаливала спина, кружилась голова, но ноги держали.

Дело пошло на поправку.

Забегал Зарян, рассказал Велику, что сочинил листовку про Кузю Единоличника и Ивана Баяна. В ней говорилось: пускай не думают, что если у них винтовки, то они могут делаться в деревне, что захотят. За любую пакость и обиду им придется платить своими боками, а то и кровью. Пускай они знают: за каждым их шагом следят и каждый записывается в черную книгу. Листовку Зарян переписал печатными буквами и ночью подбросил под дверь Кузе.

Понизив голос, хотя Таньки-то можно бы и не опасаться, блестя глазами, он сказал:

— А чтоб он не подумал, что это пустая трепатня, я ему и печатную листовочку подложил. А в ней — черным по белому: партизанский отряд тт. С. и М. в районе поселка Навлинска взорвал мост через р. Навлю. Это рядышком, восемнадцать километров, так что может провернуть. — Зарян нагнулся к Велику и продолжал совсем уж шепотом: — А тт. С. и М. — это Суслин и Мирошкин, бывшее районное начальство, можешь мне поверить. Значит, и наши рвали этот мост...

Пришла мать с колодца. Ставя полные ведра на лавку у загнетки, сказала:

— Немцы на мотоциклах. Поразъезжались по всей деревне... О господи, что ж это будет?

— Я скажу только одно: хорошего не ждите. — Зарян обратился к Велику: — Пошли поглядим.

— Куда пошли?! — закричала мать. — Куда пошли? Мало ему, что Кузя чуть калекой не сделал, опять пошли? Сиди дома, не то кочергой получишь. — Она нервничала и томилась: погрела ухватом в печке, кинулась подметать, но, махнув два раза веником, бросила, то и дело подбегала к окну и, подышав на разрисованное морозными узорами стекло, принимала взглядом к образовавшейся лунке. — К нам идет немой, о господи, с тоской сообщила она, выглянув на улицу в очередной раз.

«Немым» прозвали в деревне длинного франтоватого немца. В короткой шинелке, хромовых

неформенных сапогах, в пилотке, что едва держалась на пышной русой шевелюре. Чтобы пройти в дверь, ему пришлось согнуться чуть ли не вдвое.

— Матка, одеваться! — еще даже не переступив порога, скомандовал он. — Гуляйт. — Он сделал руку кренделем и подмигнул ребятам. — Бистро, шнель, ну!

Мать была как загипнотизированная: двигалась вяло, делала все как бы бессознательно. Пока она одевалась, солдат разыскал кусок веревки и показал жестами:

— Му! Туда! Бистро, ну!

— Корову забирают! — ахнула мать. Умоляюще сложив руки, она запричитала: — Пан, да как же? Мы ж еще и молока от ней не ели — только погуляла нынче. У меня ж дети, вон трое, как же без молока?

Немец погрозил ей пальцем, похлопал ладонью по автомату, висевшему у него на жилоте, и посторонился от двери.

— Матка, шнель, ну!

Он еще раз подмигнул ребятам и вышел вслед за плачущей матерью.

— Швайнерайне! — сказал Зарян, кое-что усвоивший из немецкого, и пошел к двери.

— Обожди, я с тобой. — Велик кинулся на печь и начал торопливо обуваться.

— А я матери скажу, — заявила Танька.

— Но-но! — цыкнул на нее Велик. — Ты давай закройся на щеколду и не выглядывай в окно, а то немцы тебя вместо коровы уведут.

Немцы согнали баб с коровами на середину деревни. Коровы сбились в кучу, тревожно мычали. Каждую держала за поводок хозяйка. Подаль стояли кучкой старики, молча курили. В коровьем стаде шныряли ребяташки. Двое немцев стояли с одной стороны стада, двое — с другой, еще двое — посередине, в самой толкучке. С ними — поигрывающий шомполом Кузя Единоличник.

— Глянь-ка, как они вырядились, — подтолкнул Велик Заряна.

— Не привыкли к морозам. У них ведь там в Германии и зимы-то нет.

На немцев было смешно смотреть. Пилотки у них были с козырьками и опущенными бортами, а под пилотками — у кого что: теплые платки, шарфы. У всех — по две шинели, а под шинелями еще что-то понадето. Неповоротливые, толстые, они походили на баб, собравшихся в лес за дровами. Только один, тот, что заходил к Володиным, сохранял бравый вид. Он держался так, как будто никакого мороза не было, лишь время от времени постукивал сапогом о сапог да слегка потирал уши.

— Хвастун, — сказал Зарян неприязненно. — А может — финн. У них там морозы злей наших. Да, скорей всего финн, они ведь за немцев воюют. — Он никак не мог допустить, что это немец так презирает наш мороз. — Финн — куда ни шло, финнов мы и при этом все равно били.

Этот солдат — «хвастун, а скорее всего финн» — стоял в той группе, где Кузя. Он опирался на толстую, с узорами и перекладинкой для ладони, палку.

— Глянь-ка, это ж Пашутина.

— Отобрал у старика.

Высокий узколицый немец, с носом маленьким и острым, как петушиный клюв, начальник, судя по погонным нашивкам, что-то прибормо-

тал, и Финн начал тыкать палкой коровам в бок и показывать хозяйкам: отводи, мол.

Одна за другой выводили бабы своих коров из стада.

— Помоложе скотинку выбирают, сволочи, — сказал Зарян.

— Глянь-ка, глянь!

Проводя свою корову мимо немца-начальника и Кузи, Кулюшка Гузеева, Степкина мать, вдруг повалилась на колени и заголосила:

— Кузя, заступись, скажи им... Ты ж знаешь — трое детей, мал мала меньше, да старик со старухой с печки не слезают, где ж мне одной? Пропадем же с голоду!

— А ты пропиши своему Гузею, нехай ен свою пайку присылает из Красной, стал-быть, Армии! — насмешливо ответил Кузя и отвернулся.

Немец-начальник что-то крикнул сердито. Финн дважды ударил корову. Она рзнулаь и понеслась, волоча за собой не успевшую встать Кулюшку.

— Кинь веревку! — крикнул Зарян, но она не услышала. — Эх, сама не дает корове убежать.

И действительно, корова начала сбавлять шаг, подспевшие немцы остановили ее. Кулюшку подняли и вместе с коровой загнали в отобранное стадо.

Наблюдая за всем, что делалось вокруг, Велик ни на секунду не упустил из виду мать и Милку. Всякий раз, когда Финн поднимал палку, у Велика сжималось сердце — сейчас ткнет Милке в бок. Но мать — хитрая: она все время становилась так, чтобы Милка была у нее за спиной и не поворачивалась к Финну боком.

Может, поэтому, а может, просто везло — Финнова палка стреляла все мимо и мимо.

Немцы стали пересчитывать отобранных коров.

«Может, им хватит уже?» — подумал Велик с надеждой.

Он поглядывал кругом себя и увидел на лицах баб и ребят, чьи коровы оставались еще в деревенском стаде, тот же вопрос и надежду, а на лицах тех, кого уже сбздолили, — углубленность в свое горе. И он понял, что сейчас все думают только о себе, о своей семье и безразличны друг к другу. Велик почувствовал, ощутил всем существом своим эту отъединенность каждого от всех, одинокость каждого, и ему стало страшно: с любым сейчас могут сделать что угодно — избить, убить — и никто не заступится. Ему было стыдно, что и он сейчас болеет только за свое и ничего не может с этим поделать.

Немцы пересчитали коров, один из них что-то крикнул начальнику, а тот — Финну. Финн опустил палку и, постукивая ею по голенищу, пошел к нему. Начальник что-то сказал Кузе и махнул рукой, и Велику показалось, что в гаме и реве, наполнявшем деревенскую улицу, он услышал вздох облегчения.

Кузя поднял руку, но вместо того, чтоб дать команду, которой от него ждали, закричал, делая подзывающие жесты указательным пальцем:

— Эй, Нюрка! Не хоронись, не хоронись! Володина, избачиха! Это я тебе! Давай-ка, стал-быть, сюда!

У Велика что-то оборвалось внутри и подкосились ноги. У матери, наверно, тоже — она не двинулась с места. Кузя подбежал к ней, она

что-то ему сказала, но он подтолкнул ее в спину, хлобыстнул шомполом Милку и погнал их обоих к немецкому стаду, крича на ходу, видимо, отвечал на ее слова:

— Мало ль что? А вот я, волостной, стал-быть, старшина, велю так!

Он испугался, что мать станет искать справедливости у немца, чего доброго, бужнется еще в ноги, как Кулюшка.

Но мать, погоняемая Кузей, прошла мимо начальника, даже не взглянув на него.

Скоро на улице остались только коровы, отобранные немцами, и при каждой — хозяйка. Два солдата выехали на мотоцикле вперед, два других — тоже на мотоцикле — остались позади. Там, впереди, раздались крики, немцы замахали руками, приказывая следовать за ними.

Боясь, как бы Зарян, да и другие ребята, не увидели его слез, Велик молча пошел прочь.

Уы что ж драпанул? — не успев даже переступить порог, начал отчитывать Велика Зарян. — Пока немцы в деревне, с них глаз спускать нельзя.

— Так они ж уехали. — У Велика скребли на душе кошки из-за матери — куда ее угнали, а вдруг не вернется? — но он старался не подавать вида.

— Уехали, да не все. Фельдфебель, Финн и еще один солдат остались собирать барахло.

— Какое барахло?

— Зимнее. Мерзнут дойче зольдатен! Видал, как одеты? Иван Баян с немцем с того конца начэл. А Кузя с Финном сюда поехали. Надо предупредить людей. Я с середины деревни пойду, а ты отсюда, с Песка.

— Так они что, силой?

— Не, добровольно. Но — обязательно. В общем, давай. Только помни про маскировку. А то начнешь оповещать, как на отчетно-выборное собрание. А завтра из тебя Кузя толкан сделает. Ферштейн!

Велик кивнул.

— Свой дом на замок закрой, — посоветовал Зарян. — Кузя знает, что матери нет. Ну, и подозрений никаких, значит. А ты, — обратился он к Таньке, — в окно не зырься. А то немец застрелит.

Танька испуганно глянула на окно, молча сгребла с лавки куклино барахло и кинулась на печь.

На улице было пустынно. Около избы Ильи Шакунова стояла Кузина лошадь, запряженная в сани.

Придумывая на ходу предлог, Велик поспешил в соседнюю хату — к Митьке Агейкину.

А предлога и не понадобилось. Митька, нарезавший на столе мох для курева, едва завидел Велика, заговорил и о табаке, и о соли, которой в селе давно не было. Велику и слова вымолвить он не дал. А за окном уже послышался голос Кузи Единоличника.

— Тпру-у!

Тогда Велик, перебивая Агейкина, выпалил скороговоркой:

— Кузя собирает теплое барахло немцам, хорони скорее, а я — на печку, нельзя мне встречаться с Кузей.

Едва он скрылся на печке, распахнулась дверь. Кузя Единоличник — за плечами винтовка, в руках шомпол — покосился в святой угол, но

креститься не стал — видно, просто проверил, есть тут иконы или нет.

— Здорово! — громко и весело сказал он. — Ха, табачок-моховичок! — кивнул он на кучу мелко нарезанного Митькой мха, что высилась посреди стола. Подмигнул: — Погоди-ка, мы сейчас настоящим, стал-быть, табачком разжигемя. — Он обернулся к Финну, который стоял у двери, прислонившись к стене и внимательно осматривая хату. — Вот, понимаешь, стал-быть...

— Русь зольдат? — ткнув в Митьку пальцем, спросил Финн и, объясняя, почему он так подумал, показал на шинель, висевшую на стенке у двери, и на военные Митькины штаны.

— Да не-е, — пренебрежительно махнул рукой Кузя. — Это не его, это ён выменял. — Кузя кричал Финну, как глухому. — А сам ён к службе, стал-быть, негодный, чахоточный. Кхе... кхе... кхи...

— Ну что ты меня перед чужим человеком позоришь? — недовольно сказал Митька. Он быстро свернул сигарку из мха и поднес Финну: — Попробуй-ка нашего горлодерчику.

Финн снисходительно засмеялся, хлопнул Митьку по плечу, покопался в кармане шинели, вытащил сигарету и протянул Митьке. Щелкнул зажигалкой.

Они закурили.

Финн осторожно затянулся и вдруг, будто его стукнули снизу по подбородку, вздернул голову и несколько секунд стоял так, вылупив глаза и открыв рот. Потом он зашелся в кашле, заматал головой. Сигарка полетела на пол.

А Митька спрятал сигарету в пригоршню, чтоб ни одна дыминка не улетела зря в воздух, и так потягивал, не отрываясь, выпуская дым через ноздри. Глядя с печки на истовое, счастливое лицо, Велик с возмущением подумал, что Митька напрочь забыл про «микотин» и меньше всего заботился сейчас о том, чтобы прожить двести лет или хотя бы сто пятьдесят. Если бы не Кузя с Финном, ух и сказал бы ему сейчас Велик, брехуну несчастному!

— Ну, вот, Митрий Тихоныч, — сказал Кузя, следивший за Митькиным пиршеством с сочувственной усмешкой, — стал-быть, видишь, как оно хорошо было бы, если б наши ослобонители скорее войну окончили. Курил бы ты эти сигареты каждый день по целой пачке. А? Так вот, вытекая из этого, надо им подмогнуть, стал-быть. Видал, какие холода стоят? Попробуй-ка в окопах в сапожках да в шинельке. Небось запоешь Лазаря.

Митька что-то промышчал, осторожно притушил окурочок большим пальцем, завернул в бумажку и положил на божницу. Кузя неодобрительно на него косился, пока он клал туда окурочок, но решил, видно, промолчать про это, чтоб не сворачивать вбок.

— Стал быть, давай, Митрий Тихоныч, что ни то теплое — на руки ль, на ноги или на голову. Не жалея, все это на пользу, стал-быть, самим нам, а не то что...

— Да что ты меня агитируешь, Кузьма Васильич! — перебил Митька. — Как будто я какой несознательный, сам не понимаю, что почем.

Он встал, прошел к загнетке и вернулся, неся за оборки пару лаптей. Царским жестом швырнул их на стол.

— На, бери! — сказал он торжественно. — Для такого дела — поверишь, нет?..

— Что это, Митрий Тихоныч? — спросил

Кузя. Голос у него стал тихий, с хрипотцой, подкрадывающийся голос.

— Ты что, не видишь, Кузьма Васильич? — удивился Митька. — Почти новые, раз пять всего обувал.

— Это ты, стал-быть, шутки шутишь или как? — все тем же подкрадывающимся голосом спросил Кузя.

— Какие шутки, что ты! Да ведь ты сам знаешь — никакой валенок за лаптем не угонится. У меня один раз были валенки, — так поверишь, нет? — я еле доносил их. Сперва, пока разнашивал, ноги стер до кости? Разносил — подошва провалилась, пришлось подшивать. Подшил — стали некрасивые. Да к тому ж — поверишь, нет? — как мороз, так ноги мерзнут. То ли дело лапти! Навернешь хорошую онучу — из чистой волны, скажем, — и кум королю. Теплень, как в печке. На онучи немцы могут одеяло старое или отслужившую шинель пустить. И в атаку бегать в лаптях — поверишь, нет? — одно сплошное удовольствие. Легко, мягко.

Кузя схватил лапти за оборки, размахнулся и хлопнул Митьку по лицу.

— Дураков нашел? — засипел он. — Так вот, стал-быть, сам же и останешься в дураках-то.

Он повернулся к двери и снял с гвоздя новенький полушубок.

— Зря ты разозлился, — сказал Митька. — Лапти — спасенье немцам от мороза. Да и то важно, что от чистого сердца. А полушубок — бабы моей, взять без ее согласия — это вроде и не добровольно получается. Ослобонителям так делать...

Финн, до этого неподвижно стоявший у двери и внимательно прислушивавшийся к разговору, вдруг шагнул вперед, подогнул правую ногу — колено к животу — и резко выбросил ее на Митьку. Митька мгновенно улетел с Великовых глаз. Послышался грохот падающей посуды.

— Рус зольдат, — указывая на Митьку, утвердительно сказал Финн.

Когда они вышли, Велик соскочил с печки. Митька уже поднялся. Он держался за живот и время от времени страдальчески морщился. Но настроение у него было бодрое.

— Слыхал? «Рус зольдат». Как говорится, свояк свояка видит издали. Солдат солдата сразу определил. Да... И опять же — гляди: если б тогда не отдал красноармейцам бекеш, сейчас бы его немцы забрали. В общем, что бог даст — все к лучшему — поверишь, нет?

Ло вечера, придумывая разные предлоги, ходил Велик из хаты в хату и как бы между прочим рассказывал о том, что произошло у Митьки. Большого не требовалось — все знали, что надо делать.

Закончив обход, Велик хотел идти домой — его все время томило беспокойство за мать, — но встретил Заряна, и тот сказал, что бабы, которые повели коров, еще не вернулись.

— Зайдем ко мне пообедаем, — предложил он.

Хлебая пресную, без соли, похлебку, Велик рассказывал Заряну про Митьку.

— Зер гут! — сказал Зарян. Он понизил голос до шепота — на печи лежала мать Заряна, тетка Наталья, и не известно было, спит она или нет. — Вот бы вернуть Митьке этот полушубок, а?

— Как?

— Ну... — Зарян пожал плечами. — Пойдем поглядим, может, что и придумаем.

На улице было темно и пустынно. В окнах мерцал неровный мечущийся свет — жгли лучину. Только Единоличникова и Баянова хаты глядели друг на друга через дорогу ярко освещенными окнами — братья заправляли лампы подсоленным бензином.

Кузина хата стояла поодаль от дороги. Большой палисадник перед нею летом засевался огурцами, капустной рассадой, луком, морковкой, помидорами. Сейчас это был просто двор.

Под окном, почти у самой калитки, стояли сани. Здесь же прилегился к стене Дунаев домик. От угла к углу была протянута проволока — сейчас ее было не видеть, но ребята знали, — по ней скользило кольцо с привязанной к нему веревкой. Другой конец веревки привязывался к ошейнику Дуная.

Еще года полтора назад Дунай был ничейным. Он бродил по деревне, перебиваясь добродетельными даяниями и свободной охотой. Частенько увязывался за ребятами на речку и в лес, охотно и благодарно отзывался на ласку, не обижался, если когда перепадал пинок. Сплавив одряхлевшего Салтана на живодерню, Кузя взял Дуная на его место. Он отрубил ему хвост, обрезал кончики ушей и какими-то своими методами тренировки через несколько месяцев сделал из добродушного бродяги лютого цепняка.

Едва ребята приблизились к палисаднику, Дунай выскочил из конуры и закатился лаем.

— Я сейчас пойду к тому углу, — сказал Зарян, — и буду его дразнить, а ты отсюда. Как кто станет выходить из хаты, хоронись за угол.

— Ну, и что?

— Пускай он бегает туда-сюда и гавкает. Все время. Чтоб в хате привыкли к его бреху и плюнули. Ферштейн?

— Не.

— Он будет гавкать, и никто не станет выходить. А мы что-нибудь придумаем.

Велик просунул палку меж кольев и поцарапал ею по снегу. Дунай, захлебываясь лаем, кинулся к нему. Велик спрятался за угол. От того угла Зарян швырнул снежок. Дунай рванулся туда, где упал снежок, а потом, услышав постукивание палки об ограду, поскакал к Заряну. Тогда Велик бросил снежок. Дунай ринулся назад.

Так они гоняли Дуная довольно долго.

Хлопнула хатная дверь, в сенцах затопали сапоги.

Велик притаился за углом. Кто-то вышел, тяжелые шаги закрипели в палисаднике. Послышался сиплый Кузин голос:

— И чего тебя родимец разбирает? Никого нетути, нечего, стал-быть, и гавкать. Намотай на ус, скотина!

Дунай продолжал лаять, бегая, как заведенный, от угла к углу.

— Ну, ладно, — миролюбиво сказал Кузя. — Хочешь показать, какой ты, стал-быть, исправный сторож. Давай, давай, черт с тобой.

Кузя ушел. Через некоторое время к Велику подошел Зарян.

— Сейчас я опять пойду туда, — сказал он шепотом. — Как только он прибежит ко мне, я доберусь до веревки и привяжу его там. А ты лезь в палисадник. И тащи полушубок. Ферштейн?



У Велика засосало под ложечкой.
— А если опять выйдет?
— Наверяд. Он уже проверил — никого нет, Дунай лает просто так.
— А как я узнаю, что это Митькиной Праскутки полушубок? Там, наверно, и еще есть.
— Ты что, забыл? У нее рукава и карманы обшиты овчиной. И на груди две полосы нашиты. В деревне ни у кого больше такого нет.
— Да, а ну как...
— Ты что, струсил? — рассердился Зарян. — Так и скажи! Я сам полез. А ты Дуная привяжешь.
Это было еще страшнее. Дунай будет кидаться, хватать за руки.
— Ладно, иди, полез. —
— Если трусишь, скажи сразу. Трусы всегда попадают. Лучше не лезть.
— Да ну, что ты, — уныло сказал Велик, уже немного попривыкший к мысли, что придется лезть.
Зарян ушел. Вскоре ускакал к его углу беснующийся Дунай. Он рычал там, захлебываясь, визжал от люти.
Велик кинул снежок, но Дунай к нему не прискакал. Значит, Заряну удалось его привязать. Надо лезть в палисадник. Велик взялся за калитку, но ноги сами понесли его назад, к Заряну.
— Ну что, привязал? — спросил он как можно деловитее.
Зарян плюнул.
— А ты вроде не догадался?! Ладно, оставайся с Дунаем. Если кто выйдет...
— Да нет, я, правда, пришел узнать.
Велик вернулся к калитке, открыл ее. Она заскрипела, и ему показалось, что робкий скрип этот громче Дунаевского лая.
Велик шел на цыпочках. Снег шуршал под лаптями тихо-тихо, а он ничего не слышал, кроме этого сухого шуршания, которое казалось ему пронзительным визгом на всю деревню.
Хорошо хоть сани были совсем близко от калитки. Велик присел на корточки и запустил трясающую руку в огромный мешок. Пальцы наткнулись на что-то плотное, ворсистое-жесткое. Подошва валенка, догадался Велик, пошарив. Рукавицы, какая-то тряпка. Ага, вот полушубок. Велик начал обшаривать его, но куда бы ни сунул руку, везде была сплошная овчина. Наконец ему удалось нащупать верх. Он оказался суконным. Значит, не Праскушкин. Велик засунул руку поглубже, нащупал другой полушубок.
Занятый обследованием, он не слышал, как хлопнула хатная дверь и протопали шаги по сенцам. Да и от безостановочного Дунаева лая звенело в ушах. Глянув на дверь, Велик обомлел: она отворилась. Ничего не соображая от страха, Велик сунул голову в мешок и полез, притаился.
— Во саду при долине громко пел соловей, — послышался сиповатый голос. Кузя, видать, был крепко выпивши: шел он тяжело, все время оступался и то бормотал что-то заплетавшимся языком, то запевал вскриком. — Все брешешь, — констатировал он, остановившись у сани. — Никого ж, стал-быть, нетути, дурак. Ну и дурак, такого первый раз вижу... дурака, стал-быть. — А я, мальчик, на чужбине позабыт от людей... Позабыт, ясно, дурак? Позабыт,

стал-быть, позаброшен с молодых выюных лет... А, паш-шел ты, стал-быть, к чертям собачьим! Я вот заберу мешок и хоть ты тут лопни.

Он потянул, кряхтя, мешок волоком в сенцы. Велик тосковал: влип! Вылезти он боялся: в хате не спали. Слышались пьяные мужские голоса, время от времени то Кузя, то жена его выходили в сенцы или через заднюю сенную дверь — в хлев.

Велику было неважно, и страх леденил душу — а ну как сунется кто в мешок. Сами собой напряглись руки и ноги: будь что будет, только скорей вон отсюда! С трудом унял он себя. Погоди, погоди, погоди. Потерпи.

Судя по шагам, вышла Дуныка. Она прошла к уличной двери и загремела там щекоткой. Велик приободрился: закрывается на ночь, значит, собираются ложиться спать.

И вправду, скоро шум в хате стих. Велик для верности сосчитал до ста, а потом стал осторожно вылезать из мешка. Он потихоньку выпрастывался, а сердце стучало, как тракторный мотор — Велику казалось, что кто-то стоит над ним и сразу схватит его, как только он вылезет.

Замирая от страха, он добрался до двери — а половицы кричали под его лаптями на всю деревню, — нашарил щекотку, отодвинул ее, открыл дверь и бочком начал протискиваться на улицу. Сердце стучало: скорей, скорей!

Едва ощутившись на улице, Велик ринулся было бежать, но перед ним вырос Зарян.

— Куда, киндер? А полушубок?

— К-какой полушубок? — У Велика зубы выбивали чечетку. Он взмолился: — Н-ну его, Коль, пошли.

— Ну да, столько прооколачивались... Где мешок?

— В углу, вон там.

— Стой и гляди на окно. Если засветится, дашь знать.

Зарян юркнул в сенцы. Велик от нетерпения приплясывал на месте.

Прошло несколько долгих мгновений. Наконец Зарян, согнувшись под мешком, появился в двери.

— Столько колготки — и все из-за одного полушубка? Все утащим! Беги домой, хватит с тебя. Только сперва отвяжи Дуная. Хрипит уже, бедняга...

Едва Велик появился на пороге своей хаты, мать заругалась с печи:

— Где тебя нелегкая носит? Танька голодная целый день, а он по улице гоняет, ни стыда ни совести не знает.

Голос у нее был со стоном, больной. Велик молча разделся и лег. Немного погодя сочувственно спросил:

— Ты заболела, ма?

— Ох, сынок, — заохала мать, — вымоталась я вся. Они-то, змеи немые, на мотоциклах, знай подгоняют: шнель да шнель. Да палками — то по коровам, то нам по горбу. До самого Ружного — десять километров — бегли как угорелые.

— Змеи фашисты! — сказал Велик и подумал, что все ж это хорошо они с Заряном нынче сделали, хоть чуть-чуть отомстили — и за Митьку, и за баб, и за коров. Правда, страху он не терпелся, ну да ведь задаром ничего не дается.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ТОБОЛЬСКИЙ ЭНТУЗИАСТ



В 20-е годы на страницах газеты «Тобольский север» можно было нередко встретить имя краеведа Е. Симонова. То это извещение о том, что во Дворце Труда он читает еженедельно «Лекции по тобольсковедению», то большая статья — «Место краеведения в культурно-просветительной работе среди трудящихся», то корреспонденции о предстоящем юбилее Ф. М. Достоевского, об организации «Общества изучения края», об экскурсионной работе тобольского комсомола, о юбилее Некрасова, о библиоманах и библиофилах. Статьи Симонова можно было встретить не только в местных газетах, но и в омской, тюменской, пермской печати.

Кто же был этот тобольский энтузиаст краеведения? Что двигало им в те трудные годы, когда страна еще лежала в разрухе после гражданской войны и интервенции, когда еще догорали очаги кулацкого восстания в ишимском Прииртышье?..

Егор Иванович Симонов родился 29 марта 1889 года в городке Тюкалинске Тобольской губернии. В 11 лет он осиротел и родственники отвезли его в Ишимское духовное училище. Мальчик оказался способным, после училища его направили сначала в Тобольскую духовную семинарию, а затем, как лучшего ученика, послали на казенный счет в Казанскую духовную академию.

Все шло к тому, что Егор Симонов станет видным священнослужителем. Однако, приехав в Тобольск, он неожиданно порвал с духовной карьерой и стал учителем русской словесности в женской гимназии.

Вскоре наступают сложные времена. Революция и гражданская война испугали многих интеллигентов. Но когда войска молодой Советской республики приблизилась к Тобольску, учитель Симонов не сбежал со своими сослуживцами на восток, а отправился с толпой горожан встречать отряды

Блюхера, разбившие колчаковских генералов...

С этого времени все свои силы Егор Иванович отдает служению победившему народу. Он читает лекции по русской литературе красноармейцам, ездит с отрядами ЧОНа по губернии, учит в школе детей рабочих и крестьян, солдат и ремесленников. Он болен, болен тяжело и безнадежно, знает, что скоро конец, но это не останавливает его. Поверив навсегда в Советскую власть, Симонов служит ей без громких слов, как говорят, не за страх, а за совесть, беззаветно, слово торопясь в отпущенное ему время свершить как можно больше из задуманного.

Одну из крепчайших основ нового строя Симонов видел в воспитании у молодежи любви к Родине, к родному краю, родному городу. Поэтому он читает, где только можно, лекции по краеведению, водит школьников на экскурсии в Искер, Сузгун, Подчуваши. Редкий номер местной газеты выходит без его краеведческих статей и заметок. Все это он делает, не получая ни копейки вознаграждения, одержимый желанием помочь трудящимся глубже познать и полюбить свою родину, ставшую свободной...

В это же время Симонов увлекся делом, которым завершил свою короткую жизнь. В поисках материалов по истории края, он часто наталкивался на имя автора «Конька-Горбунка» П. П. Ершова. Его удивил разительный разрыв между популярностью сказки и скудными сведениями о ее авторе. В апреле 1922 года Симонов организовал при музее кабинет по изучению жизни и творчества замечательного сказочника. Выпустил брошюру, в которой подробно изложил планы и нужды кабинета. К осени ему удалось собрать здесь более трехсот экспонатов, касающихся жизни автора «Конька-Горбунка». Здесь и некоторые бесценные рукописи П. Ершова, рисунки друга поэта М. Зна-

менского, рукописные воспоминания Черданцева, Помаскиной, Девятовой и других тоболяков.

Вокруг Егора Симонова быстро растет группа молодых энтузиастов, среди которых был и П. Г. Маляревский, будущий советский писатель, соавтор либретто к балету «Конек-Горбунок». Пользуясь любыми возможностями, Симонов выпустил несколько брошюр, посвященных собранным материалам: «Как издавали и как надо издавать сказку «Конек-Горбунок», «П. П. Ершов в музыке и пении», «Новый портрет Ершова» и другие. Эти брошюры, напечатанные на серой или желтой, рыхлой бумаге, вышли очень небольшим тиражом.

Сейчас эти издания — величайшая редкость.

Большая часть из собранного Егором Симоновым оказалась после его смерти (13 декабря 1923 года) в Тобольском музее, где и хранится до настоящего времени. Однако часть материалов исчезла: в брошюре «Кабинет по изучению П. П. Ершова» Е. Симонов писал, что многие ценные материалы, имевшиеся у родственников поэта и старожилов Тобольска, были уступлены ему «лишь во временное пользование». Неизвестно, например, какие стихотворения Ершова были собраны Симоновым, не все экземпляры «Конька-Горбунка» с авторскими надписями найдены и т. д.

Краеведам Урала и Прииртышья, Тюмени и Свердловска есть над чем поработать, разыскивая материалы, обнаруженные в свое время Симоновым, а затем утраченные. К этому призывает нас и память о Егоре Ивановиче Симонове, бескорыстном энтузиасте, первом советском краеведе Тобольска.

НАЙТИ СЕБЯ

Быль наших дней

И. ДАВИДОВ

Крутись, как хочешь, а в обжиговой печи нужно разместить фасонных огнеупоров как можно больше, и чтобы стояла причудливая пирамида прочно, неколебимо, чтобы свободно могли пройти меж кирпичами огонь и воздух.

Думать приходится о том, как выгоднее расположить кирпич в основании пирамиды, затем круглые и высокие стопорные трубки, конусные «стаканы», у которых хрупкое и непрочное широкое кольцо, шестиугольные «звездочки» для разливки стали, похожие на револьверные головки у токарных станков. А после всего, под конец, полусферическую огнеупорную пробку — самую мелочь, самый капризный огнеупор, ибо на него ничего уже не положишь. Треклятая эта пробка требует над собой полной пустоты. И когда пробки идет слишком много — заработок у садчиков падает.

Каждая загрузка — на особицу. Вот уже двадцать лет Петр Тимофеевич садит в печь огнеупоры, а двух совсем одинаковых загрузок не упомянет. Хоть и знакомы ему все фасоны, но их много, и подают их каждый раз в разных сочетаниях, в разных количествах. Конца нет этим сочетаниям. Как в шахматах: ни одна партия на другую не похожа, хоть и начинаются многие одинаково, словно пирамида в обжиговой печи — с широкого и нерушимого основания.

Шахматы-то Петр Тимофеевич знает, играет — и сносно — много лет. И Славку своего давно научил, еще мальчонкой.

Эх, Славка, Славка! Был ты для отца сплошной радостью. А стал вдруг болью да обидой...

...Протянутая за кирпичом рука Петра Тимофеевича повисает в воздухе. Он оглядывается — вагонетка пуста. Каталь Сережка разворачивает вагонетку на съемных рельсах и с грохотом выталкивает из печи. Минута передышки. Сейчас подадут другую вагонетку.

Петр Тимофеевич шаркает валяными опорка-



ми по горячему полу печи и вылезает в цех — глотнуть свежего воздуха. Хоть и подают вентиляторы в печь холодную струю, а все же печь есть печь. В цехе прохладнее.

...Электролафет с грохотом подкатывает к печи новую вагонетку с огнеупором. Петр Тимофеевич уходит в печь.

И снова он, не глядя, протягивает каталью руку за кирпичом и начинает выкладывать на основании пирамиды ажурную башню, которая упрется в верхний свод печи и разделит все пространство обжиговой камеры пополам. В этих-то вот половинках и придется устраивать хитрые каморки для фасонного огнеупора.

Снова думать приходится о кирпиче — как его поставить, как повернуть, чтоб побольше влезло, а не о том, из-за чего изболелась душа — о сыне. Только стучит в мозг, будто с каждым ударом сердца, одно слово: «Славка! Славка! Славка! Славка!» Да еще вспоминается его фраза: «Ты на меня смотришь, папа, как на взбунтовавшийся шкаф. А я человек!» Это ж только придумать такое! Его Славка! Его плоть и кровь! На двух ладонях умещался. Комочек! Пеленки из-под него вынимал, стирал их, когда Нина руки обварила, с ложечки кашкой кормил, игрушками так задаривал, что даже Нина ворчала. И вот теперь это холодное, чужое, с прищуром — «взбунтовавшийся шкаф!» Вырастил сыночка!

...Стопорные трубки привезли раньше конусных «стаканов». Это плохо. Под низ лучше идут «стаканы» с их широким, хоть и непрочным основанием. А длинные и тонкие стопорные трубки нужно обкладывать кирпичом, иначе не выдержат им страшного груза, который ляжет сверху. Но куда денешься? Привезли раньше — сади раньше. Вагонетку в сторону не отгонишь, не удержишь — сразу весь конвейер ломается. Эх, работка! Не соскучишься!

В дальнем конце камеры полуголые выгрузчики вталкивают в печь звонкую пустую вагонетку и начинают складывать в нее остывший, уже обожженный огнеупор. Петр Тимофеевич не видит их, работает к ним спиной, но отлично знает, что там делается и как. Все садчики начинают с выгрузчиков. Потому что разбирать — не строить. Полегче для ума. И сам он тоже когда-то начинал выгрузчиком, хоть и работал до этого каменщиком на стройке. Два года выгружал! Ходил тогда на работе черным, как негр, потому что обжигали в те времена огнеупор углем, а не чистым мазутным пламенем, как сейчас. И вентиляторов в печи не было. Работали — задыхались. Но не жаловались, между прочим, на условия труда...

Вагонетки сменяют одна другую, один другого сменяют катали, и только Петр Тимофеевич да его помощник Семен гнут спину бессменно. Каталь их не заменит. Каталь есть каталь — ему вагонетки катать да дверные ходки кирпичом закладывать. А садчик — высшая огнеупорная профессия! Не зря же и платят садчику как хорошему сталевару. Семен сейчас учится этой профессии и вторую ползину пирамиды выкладывает точно так же, как Петр Тимофеевич ведет первую. Аккуратно копирует. А это тоже искусство.

До обеда удается посадить в печь двадцать пять тонн огнеупоров, и Петр Тимофеевич доволен. Дневная норма бригады — сорок.

Еще бы после обеда так же — и ладненько. Но после обеда придется работать уже вверх, в самом жару, где даже легкую рабочую куртку придется снимать.

Перед уходом в столовую Петр Тимофеевич расправляет в печи складные подмости, и, глядя на него, длинный, худой помощник Семен делает то же самое у своей половины, хотя ему подмости понадобятся минут на двадцать позже. Семен ростом повыше, и руки у него подлиннее.

В цеховой столовой Петр Тимофеевич становится в очередь за своим новым каталом Сережкой и потом хлебает холодную окрошку за одним с ним столом. Сережка работает всего полторы недели, нехитрые обязанности каталя освоил быстро, а вот что у него за душой — темный

лес. Парень помалкивает, старается, приглядывается, и пожаловаться на него нельзя. Плохо только, что уходит он из цеха за два часа до конца смены. Потому что лет ему неполных восемнадцать, и работать таким парням целую смену запрещено. Считаются подростками. Хотя тот же Сережка на полголовы выше Петра Тимофеевича.

В последнее время погрузивший, немолодой уже садчик стал особо интересоваться тем, что на душе у этих вот современных парней — вежливых, рано вытянувшихся в длину, разгуливающих по улицам с маленькими транзисторами и магнитофонами, о которых Петр Тимофеевич в свои молодые годы даже и не мечтал, ибо не представлял, что будет такое придумано.

Эти парни неохотно, нелегко раскрывают свою душу старшему, хотя промеж себя особых секретов вроде не держат. Совсем незаметно, даже и не скажешь точно когда, таким же парнем стал Славка. Еще два года назад он был неуклюжим увальнем. А вчера поставил отца к двери, где когда-то отмечали рост обоих детей — и Славки и Веры, — и отметил карандашом рост отца. Потом отметил свой рост и торжественно объявил:

— Я на полтора сантиметра выше! Конечно, это еще не главное, но какие-то выводы из этого пора сделать.

Мать принесла ему с кухни свежeweыглаженную рубашку, Славка надел ее, взял маленький магнитофон — подарок родителей ко дню рождения — и ушел. У них вечер. Там, у одной девочки. По случаю окончания восьмого класса. Вина они еще не пьют — у них в классе железный «сухой закон», — а танцы отчебучивают такие, что только держись!

И как это тихо, незаметно додумался Славка перекувырнуть всю свою жизнь! Ничего не говорил, молчал, вынашивал — а потом бах! — я, мол, человек, а не взбунтовавшийся шкаф.

— Про какой шкаф вы говорите? — деловито переспрашивает каталь Сережка, нагнувшись над тарелкой.

Кровь бросается в лицо Петру Тимофеевичу. Видно, забывшись, он признал что-то вслух. С ума так свихнуться можно!

— Так это я, своим мыслям... — вроде как бы извиняется он. — Шкаф надо новый покупать...

— Сейчас полированные в моде, — произносит Сережка. — Иного и не берите — засмеют! Петр Тимофеевич вдруг взрывается.

— А мне плевать! — говорит он. — Плевать я хотел, что кто-то скажет о моем шкафе. Я его покупаю для себя, для своих портков.

Сережка криво улыбается, растягивая свои тонкие, и без того длинные губы, пожимает плечами, ничего не отвечает. И Петр Тимофеевич враз остывает. Чего это в самом деле раскипятился? Никакого ведь шкафа домой не надо. Стенные хороши в каждой комнате, да и в коридоре...

После обеда работается тяжелее. Огнеупор вверх тащить, на подмости, и жара, как на черноморском пляже. Только там, на пляже-то, валяются, отдыхают, море рядом. А тут вкальиваешь.

Пробки сегодня прикатывают немного, и Петр Тимофеевич мысленно благодарит фортуна за такое везение. Мороки с этой пробкой много, а толку на грош. Пробка легкая и привередливая, а работа садчиков измеряется в тоннах. Но Петр Тимофеевич отлично знает, что фортуна переменчива и пробка все равно свое возьмет. Сегодня ее мало, завтра будет много. Однако

всегда кажется легче, если что-то канительное и невыгодное отстает на после. Не сегодня — и на том спасибо.

До конца смены удается посадить в печь двадцать три тонны, — и к душевой Петр Тимофеевич топает в своих опорках совсем довольный. Каждый бы день так — на сто двадцать процентов! Так жить можно. Не то что на полированный шкаф — на «Жигули» собьешь. Только не каждый день так получается.

А в душевой, под прохладными струями, снова ударяет в голову: «Славка! Славка! Славка! Ведь ломаешь себе жизнь, дурная твоя голова!» И ничего ему не втолкуешь, не объяснишь — решил! Сам решил! Своим великим умом!

Домой Петр Тимофеевич бредет медленно, специально отстав от всех, чтоб подумать. Жизнь такая бешеная, что и подумать-то толком некогда. Все бегом, бегом, и конца этому бегу не видно.

Над головой шелестят громадными листьями молодых веток старые тополя. Эти тополя стригли чуть ли не каждый год до полного безобразия. Но жизнь брала свое, на искалеченных словно артобстрелом тополях отрастали новые ветки, и листья на этих ветках были толстыми и широкими, как олады. Топольки посадили здесь сразу после войны, и сейчас бы они могли быть могучими, тенистыми. А стоят куцыми, потому что их старательно подгоняют под одинаковые шарик. Петр Тимофеевич не раз ругал за это озеленителей на партийных и профсоюзных конференциях комбината, но они на его критику внимания не обращали, ссылались на какие-то инструкции и пример областного города. А глядеть на работу озеленителей по этим инструкциям тошно и обидно, особенно если сам ты в молодости высаживал эти топольки и обрек их нежданно-негаданно на такую муку.

— Физкультпривет! — слышит Петр Тимофеевич звонкий голос и, машинально кивнув, встречается взглядом с Федюком, тренером футболистов огнеупорного производства. Федюк бежит на завод. Именно бежит — он почти никогда спокойно не ходит. Одет он в немисливо красный тренировочный костюм. И где только откопал такой для своих богатырских плеч? Вечно он что-нибудь учудит с одеждой, этот Федюк. Всю весну носил вязаный женский голубой берет с пампушкой. А зимой, словно девица, не раз появлялся в белых кожаных сапогах. Впрочем, футболисты у него играют прилично...

Недавно, как видно, пронесся быстрый июньский дождь, и мостовая еще не высохла, блестит и отликает розовым в закатных лучах. Полукруглые ряды гладких темных камней кажутся гранитной брусчаткой, и почти все приезжие так и думают, что многие улицы в этом городе, словно Красная площадь в Москве, выложены дорогой гранитной брусчаткой. Но на самом деле это не брусчатка, а огнеупор, уже побывавший в домнах и мартенах. Одна кромка его изъедена и пропитана жидким металлом. В дорожное полотно кладут кирпич этой кромкой вбок, и она не позволяет изнашиваться всему камню. Мостовой из огнеупора так же нет сноса, как и гранитной брусчатке. Еще до революции, при Демидовых, додумались на Урале мостить улицы отработанным огнеупором, и так это ведется до сего дня. И асфальт на большинстве улиц тоже положен по огнеупору.

Простая эта уральская придумка всегда радо-

вала Петра Тимофеевича. Приятно сознавать, что продукцию ты выпускаешь такую, которая служит людям вечно. Вроде бы выполнила она главное свое предназначение, но вот пошла ее вторая служба, и конца этой службе нет. Ты померешь, внуки и правнуки свое отживут, а сработанные тобой огнеупоры все еще будут крепкими на улицах уральских городов.

— Как здоровье, Петр Тимофеевич?

— Нормально!

Садчик кивает длинному, тощему встречному парню с мотком белого провода через плечо. Это цеховой электрик Гришка Селиверстов. Еще десять лет назад он был домашником где-то на юге. После колонии попал в обжиговый цех и поначалу тащил из цеха все, что плохо лежало. Однажды задержали его на проходной с зеленым сукном из цехкомовского кабинета. Хотели судить. Да Петр Тимофеевич спас тогда Гришку от второй колонии. Крепко поговорил с парнем, вступился за него на цехкоме. Оставили «до первого случая». А теперь парень женат, и нянчится с дочкой, и сейчас вот тащит на завод явно свой, купленный в магазине — на свои трудовые — провод. Потому что такого белого комнатного провода на комбинате нет. А в магазине — полно.

...И все же, что делать со Славкой? Что делать? Что делать? Чем кончится его сумасбродное решение?

По сути все было очень просто. Сдав на четверку первый же экзамен — геометрию, — Славка пришел домой мрачнее тучи и объявил, что после восьмого класса бросит школу и уедет в Верхнюю Салду, в училище рабочих-металлистов.

— Ты же сдал! — ответил ему Петр Тимофеевич. — Какого рожна тебе еще надо?

— Меня вытянули, — признался Славка. — Меня пожалели. Меня слишком часто стали жалеть и вытягивать. А я еще не кретин и все понимаю. Думаешь, приятно?

— Думаю, что ты балбес! — сказал ему Петр Тимофеевич. — Думаю, что ты не видишь дальше своего носа. Сдавай экзамены — потом поговорим.

— Сдать-то я сдам, — пообещал Славка. — Только учти — я решил твердо. Не хочу, чтоб меня жалели. Хочу, чтоб уважали.

Произнес он это как-то очень холодно, и впервые Петр Тимофеевич почувствовал отчуждение в словах сына. Слово не отцу сказал, а соседу из другого подъезда.

Он сдал ровно — две четверки, две тройки. Сдал так же, как учился. Он и в году очень редко приносил двойки и пятерки. Ехал на тройках и четверках, начиная с шестого класса. Петра Тимофеевича это не беспокоило. Не двоечник — и ладно. Не всем быть отличниками. Но вот Славку, оказывается, это не устраивало. Ему, оказывается, этого было мало.

Вообще-то можно было бы его понять, если бы выход из этого положения он отыскал правильный. Не хочешь, чтоб тебя жалели, хочешь, чтоб тобой гордились — вкальвай! Сиди над книжками, бейся над задачками, штурмуй программу ширь и вглубь. Тогда придут пятерки, и не понадобится тебя вытягивать. Все просто, как в бане.

Славка же, видно, решил сбежать от трудностей, и Петра Тимофеевича оскорбляло, унижало, что его родной сын, его плоть и кровь, оказался таким слабозвольным. Бежит от трудностей, не думая о том, как тяжело, как неоправдано, скажется это на всей его судьбе.

Чего греха таить — не раз мечтал Петр Тимофеевич, как через несколько лет придет в один из цехов комбината молодой инженер Вячеслав Петрович — высокий, стройный, ладный — и как люди, глядя на него, будут говорить: «Это сын Гилева, знаменитого садчика». Мечталось, как умножит сын отцовскую славу, как свою утвердит.

Конечно, все это может случиться со Славкой-рабочим не хуже, чем со Славкой-инженером. Рабочая слава инженерской не слабее. Может, еще и покрепче. Но не для того разве мы живем, чтоб дети поднимались на круг выше нас, чтобы знали и умели больше, чтоб жизнь их шла на иных скоростях и режимах? У скольких знаменитых и не знаменитых рабочих на комбинате сыновья повыходили в инженеры? И не счесть. Чем же Петр Тимофеевич хуже других?

Честно говоря, на старшую, Веру, Петр Тимофеевич не возлагал особых надежд. Дочь отцовскую славу не умножит. Не уронила бы — и то ладно. И все как-то с Верой было спокойно, без особых проблем. Росла терпеливая, покладистая, тихая и старательная — вся в мать. Училась на четверки и пятерки, учителя ее хвалили, возилась с малышами-октябрятами, потом решила поступать в педучилище. Рано решила — еще в шестом классе. И как-то незаметно всех приучила к своему решению.

В прошлом году педучилище она окончила, уехала недалеко, в Красноуральск, и уже через три месяца выскочила там замуж за техника медеплавильного комбината. Комнатку в общежитии им дали к свадьбе, а теперь они ждут квартиру. Вот-вот Петр Тимофеевич станет дедом. Все ясно, естественно. А со Славкой — сразу такой поворотик...

Сейчас предстояло найти доводы — неумолимые, как танки. Чтоб они пробились сквозь Славкины шутки и смяли его глупое решение. Настоящего разговора еще не было — он будет, видимо, сегодня. А до сих пор все получалось как-то несерьезно — на ходу, бегом, торопливо, между какими-то совершенно неотложными делами. Петр Тимофеевич не привык в такой обстановке разговаривать о жизни и потому не мог выдать из себя ничего, кроме запретительных слов. А они уже не действовали — Славка вырос. От этих слов он и отгородился своим холодком. Надо признать — отлично отгородился. Значит, нужны доводы, а не запрет, нужен разговор с женщиной, а не с пацаном...

Петр Тимофеевич неторопливо, будто гуляет, вышагивает по асфальтовой дорожке под тополиными ветками и ищет эти доводы — один, другой, третий, вертит их так и сяк, выстраивает их по порядку, прикидывает: а как сможет сын возразить?

Кончается полоса пустырей и складов, отделяющих цехи от жилья, и сразу ударяют в уши детские крики и смех и разноголосая музыка из открытых окон.

Славка дома — валяется на диване в трусах, хрустит яблоком и читает какую-то книжку в бумажной обложке. Раньше Петр Тимофеевич всегда знал, какие книжки читает сын, а теперь уже и не уследишь. Берет книги у товарищей, в библиотеках, покупает сам. Читает фантастику, про путешествия и все, что попадется, про самолеты и летчиков.

— Мать где? — спрашивает Петр Тимофеевич, переодеваясь.

— В магазин утопала, — отвечает Славка, не отрывая глаз от книжки.

У Нины сегодня выходной. Работает огнеупорное производство непрерывно, не останавливаясь в субботу и воскресенье, как непрерывно варят металл в мартенах и домнах. Поэтому выходные у всех идут по скользящему графику и часто не совпадают в семьях. Пока Нина была формовщицей и работала рядом с обжиговыми печами, удавалось договариваться с мастерами об общих выходных. А потом от сырой глины разболелись у жены суставы, и пришлось уходить с выгодной формовочной работы в экспедицию огнеупоров, где тепло, сухо, но платят раза в полтора меньше. И вот тут уж об общих выходных не договоришься. Раз, редко два раза в месяц совпадают у них теперь выходные.

Петр Тимофеевич невольно залюбовался Славкой — длинный, стройный, руки и грудь мускулистые, как у спортсмена, хотя спортом вроде бы и не увлекается — в пинг-понг только без конца гоняет. Куда и делись его недавние полнота и неуклюжесть? Лицо узкое, суховатое, но приятное. Когда-то и у Петра Тимофеевича такое же было — перед фронтом. А теперь лицо расплылось, задубело, изъези его ранние морщины от постоянного обжигового жара... Девки, наверно, по Славке сохнуть будут... Может, и сейчас кто-нибудь уже сохнет из их класса? Пойди, угадай — Славка молчит и никого вроде не выделяет... Волосы вот только длинные, не нравится это Петру Тимофеевичу.

— Стричься-то думаешь? — спрашивает он. — Или в твоё училище только патлатых принимают?

— Думаю, — отвечает Славка, не отрывая глаз от книги.

— Когда?

— Завтра.

Петр Тимофеевич усмехается — вопрос исчерпан. Все-то у них так, у этих нынешних молодых — холодно, вежливо и не ухватишь.

А может, стоит начать прямо, безо всяких подходов и подъездов — так, как положено начинать истинно мужской разговор?

— Ты сегодня никуда не собираешься? — спрашивает Петр Тимофеевич.

— Нет.

— Может, поговорим?

— Всегда пожалуйста.

А глаза от книги не отрывает. И продолжает хрустеть яблоком.

— Ты не передумал насчет училища?

— Нет. И не передумаю.

Опять холодок в голосе.

— А что будет потом — ты себе представляешь?

— В общих чертах.

Теперь уже в голосе насмешка.

— Может, просветишь меня?

— Ты и сам знаешь. Кончу — буду работать. А по вечерам — учиться.

— Гладко получается.

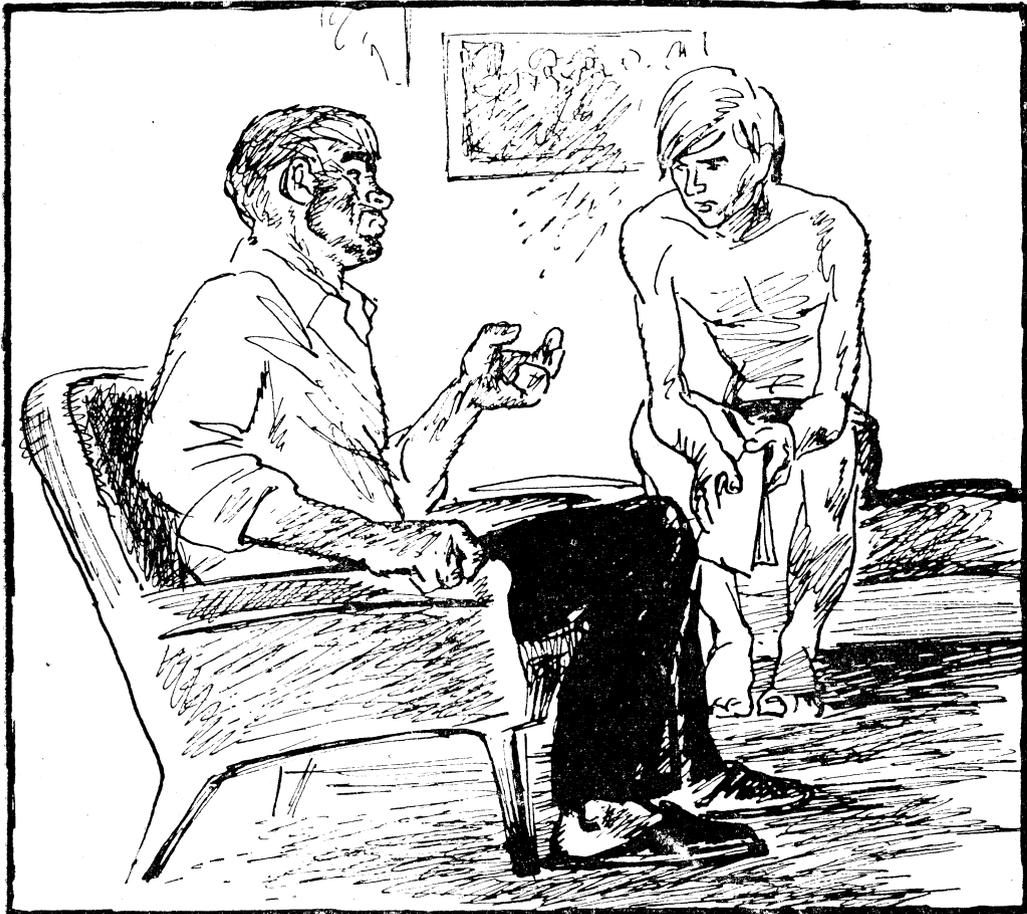
— А почему бы и нет?

Он, наконец, откладывает книгу, садится и глядит отцу в глаза.

— Да ты не волнуйся, пап! Все будет нормально. Не хуже, чем у людей.

Петр Тимофеевич косит глаза на обложку книги, прочитывает: «Поиски крыльев». Снова про самолеты...

— Изложи-ка, сынок, все поподробнее. Все, что придумал.



— Ну, и поподробнее будет то же самое. Славка улыбается. Улыбка у него широкая, добрая. Зубы ровные. Чудо-парень! Ума вот только еще маловато.

— Можно, конечно, объяснить, если хочешь, — говорит Славка.

— Будь добр!

— Училища сейчас, сам знаешь, какие. Получаешь рабочую специальность и аттестат зрелости. Идешь, предположим, прокатчиком четвертого разряда. А те, кто кончил обычную школу, идут в тот же цех подсобниками, учениками. И до четвертого разряда им еще два года с гаком тянутся. А у меня уже тогда пятый будет!

— Может, еще и не будет. — Петр Тимофеевич с сомнением качает головой. — Пятый разряд высокий. Это уже мастер своего дела. Но не в том суть. Ты мне давай дальше свою линию.

— А что дальше? Буду работать, по вечерам — в техникум.

— Дальше!

— Дальше? — Славка даже руками разводит от удивления. — Кончу техникум, хватит сил — поступлю в институт. Сейчас почти в каждом приличном городе филиал Политехнического. Только учись. Но до академика, может, и не дойду.

— Где уж там — академик... Когда хоть думаешь стать инженером?

— Когда стану — тогда стану. Какая срочность?

— А армию ты учел?

— Учел. Там тоже можно заниматься. Ну, не так много, но можно. Отслужу, вернусь, сдам за какой-нибудь курс экстерном. Двинусь дальше.

Петр Тимофеевич качает головой. Все вроде бы верно, но не убедительно.

— Как ты думаешь, Славка, — почему я в инженеры не вышел?

— Война, наверно, помешала.

— Отчасти — да, война. Но не только. Можно было и после войны учиться. Многие учились — прямо в гимнастерках.

— А что же?

— Да вот, понимаешь, — женился. Вначале понадобились мебель, посуда, еще всякое такое. Потом Вера родилась, мама с работы ушла. Пришлось мне как-то... подрабатывать. Тогда вот я и потянулся со стройки на огнеупорный. Вначале — только по вечерам. Выгрузчиком. Потом пригляделся — и совсем перешел. Рабочих на огнеупорном всегда не хватало. Потому и вкалывал я очень часто по полторы смены. И это ведь годами — пока ты не подрост, пока мама снова не пошла в цех. А с полутора смен притопашь — газетку-то нет сил прочитать, не то, что учиться.

— Я все это знаю, папа. Я благодарен тебе.

— Не к тому я. Ты ведь тоже когда-то женился. И тоже не обойдется без детей. И все эти твои построения полетят вверх тормашками. Когда пицци дома твое кровное дитя, что угодно бросишь, чем угодно пожертвуешь, лишь бы было оно сыто, одето, игрушек ему хватало. Так устроены все нормальные люди. Я надеюсь — ты нормальный. А план у тебя — очень уж многоступенчатый. И на любой ступеньке можно споткнуться — да и застыть. Когда ступенек меньше — дорога вернее. Переступил из школы в институт — и тут уж только будь честным. И ты инженер.

Славка молчит, думает, морщит лоб. Кажется, второй «железный» довод поколебал его.

— А скажи, пап, ты очень страдаешь от того, что ты не инженер?

Петр Тимофеевич теряется от такого вопроса. Нет, не прост парень, далеко не прост! Может, это и хорошо?

Разговор прямой. Значит, и отвечать надо прямо.

— Нет, сынок, не страдаю. Не у всякого инженера такая добрая слава, как у меня. И зарабатывает большинство инженеров поменьше. Но ведь не только славой да хлебом жив человек! Почти любой инженер больше моего знает, больше моего читает, быстрее моего развивается. Приходилось порой присутствовать при разговоре инженеров. Иногда ни фига не понимал. Будто с другой планеты люди. Вот тогда я мучился. Как ты говоришь — страдал. Значит, они умеют думать так, как я не умею. И никогда не научусь. Значит, они и живут интересней. У них другое богатство — мыслительное. Если бы я считал, что их жизнь хуже моей — не желал бы тебе такой жизни. Но вот представь, через десять лет встречаешь ты Петьку Селезнева, с которым сейчас сидишь на одной парте. Он окончил Политехнический, работает в кабэ, придумывает новые машины. А ты — прокатчик в цехе. Пусть даже и пятого разряда. Ну, посидите вы с ним, может, выпьете, повспоминаете ребят — кто куда разлетелся. И больше вам говорить будет не о чем. Проститесь вы в тот день и вряд ли захотите еще встретиться. Не интересно! Вот такие, понимаешь, соображения.

Петр Тимофеевич устало вздыхает.

Славка смотрит на отца серьезно, даже немного грустно, но ничуть не растерянно. Потом отвечает:

— Это, пап, может произойти с любыми людьми. И с двумя инженерами. С инженером и врачом. С академиком и великим артистом. Это зависит не от положения или образования людей. От чего-то другого. С Петькой Селезным мне, например, всегда будет о чем поговорить. Это меня не волнует. Ты скажи мне другое. Ты слышал о рабочих, которые кончили техникум или даже институт — и остались у станков?

— Конечно! У нас на комбинате их хватает. В цехе нашем, правда, нет. Но что хорошего-то? Они держатся за станки, потому что инженерам меньше платят.

— А если не потому? А если они учились не ради должности, а ради знаний? Вот как раз чтоб мыслить на недостаточном тебе уровне! Ведь когда шли учиться — они уже знали, что инженерам меньше платят. И все-таки шли!

— Экой героизм! И ты, что ль, так же хочешь?

— Может, и я. Хотя не обещаю.

— Так я тебе, Славка, вот что расскажу. Сразу после войны выучил я английский. Мы на Эльбе стояли, и нужно было общаться с союзниками. Достал я самоучитель — и выучил. Не так, чтоб очень полно, но объяснялся без переводчика. А нынче я от всего английского только и помню «хау ду ю ду» да «гуд бай». Знал — да забыл. Потому — практики нет. Так же и эти рабочие. Мыслить-то на инженерном уровне можно на инженерном деле! А не за станком. Знания, которые постоянно не употребляешь, рассеиваются, теряются. Вон Верка педучилище кончала, так говорила: если после окончания три года не работаешь по специальности — диплом теряет силу. Ведь не дураками придумано. Это что касается знаний. А есть еще и другая сторона — совесть. Человека учить — дорого стоит. У нас это бесплатно. Чудненько. Пользуйся! Но имей совесть. Если на твое обучение потрачены средства — верни их своей работой. А тут складывают знания в сундук, пересыпают нафталином — и на замок их. Ни себе, ни другим. Нет уж, Славка. Если ты от станка пошел к людям, и они задарма научили тебя инженерному делу, — верни это людям! Работай инженером, коль и меньше платят. Так будет честно. Или не согласен?

Славка улыбается, мотает головой.

— Как тут не согласиться? Сразу в жулики попадешь. Но я-то клонил к другому. Вот к этому самому умению мыслить на высших уровнях. Это ведь, пап, не только от знаний. Это еще от природы. От генов, что ли. Вон Витька Клюев любые задачи как семечки щелкает. Играет. Да и Петька Селезнев не хуже. А я мучаюсь, верчу ее, гоняю — не раскаляется. Приду в школу, пишу у них — вижу, все просто. Удивляюсь — как сам не додумался. За следующую берусь — тоже самое. Так ведь от Ольги Петровны тоже не скроешь!

— Она тебе что — говорила об этом?

— Ничего она не говорит. Вздыхает только. И лепит тройки. Вот вижу я — из жалости тройка. И все видят. Знаешь, как противно! А модели мои всем нравятся. Да и тебе. И на труде тоже... Что руками сделаю — все хвалят. Думаешь, мне самому не хочется мыслить на высших уровнях?

— Значит, мало читаешь! Мало сидишь над книжками. Один быстрее постигнет, другой — медленнее. Это понятно. Но все равно — можно. Конечно, если попотеть.

— Вот я и решил — медленно, да верно! Мне, пап, по конкурсу в институт не пробиться. Клюев и Селезнев — пробьются. А я — нет. Но я хочу самолеты строить, понимаешь? Мне другого дела не надо. А в авиационные институты, знаешь, какой конкурс? Самый большой, наверно.

— Да уж конечно. — Петр Тимофеевич вздыхает, передвигает хрустальную пепельницу по столу. — Конечно, конкурс там немаленький. А ты за два года вперед испугался? Коленки задрожали?

— Ну, вот!.. — Славка морщится, и давешний холодок снова проскальзывает в его словах. — Ты не ругайся. Я все равно по-своему сделаю. Ты подумай! Я ведь хочу все подступы пройти. От самой маленькой заклепки. Все узнаю о дюрале. Научусь его катать, резать, гнуть, клепать. Нужны ведь Туполевым да Илюшиным такие люди. Кто же должен переводить их идеи в металл! Вот и я стану таким. Чтоб на все руки! И все равно буду строить самолеты. Начну рабочим. Дойду до техника — хорошо. До инженера — еще лучше. Нет — тоже не страшно. Важно делать то, что хо-

чешь. Ребята говорят, в горный конкурса нет. С тройками берут. А мне — не надо. Не тянет в горный. Мне бы вот птицы свои в небо пускать. Как сейчас — модели...

— Модели твои — игра! Занятно, конечно... Но всего лишь игра. А тут ты жизнь решаешь. Потом не скажешь: «Ой, дайте, я перехожу!» Трудности-то настоящие пока за тридевять земель. А ты от них уже шарахаешься. Я бы еще понял: полез, кровь из носу! — не вышло. Ну, тогда ищи другой путь. А ты ведь и пробовать боишься!

— Я пытаюсь логически.

— Не знаю я этой твоей логики. Не понимаю! По-моему, это просто трусость.

— Думай, как хочешь. Никому своих мыслей не навязываю. А только я свою жизнь обдумываю — не чью-нибудь. И мне все равно, в каком звании делать свое дело — в рабочем или в инженерном. Лишь бы с ое дело!.. Вон мама звонит. Пойду открою. Ты уж при ней не продолжай. А то заведется...

Славка бежит к двери, открывает Нине, перехватывает у нее полные сумки и бегом тащит их на кухню. За Славкой спешит полная, вспотевшая, шумная Нина.

— Зачем ты по столько покупаешь? — укоряет Славка. — Тяжело ведь!

— А, за одним! — Нина машет рукой.

Петр Тимофеевич вздыхает и берется за газеты. Глаза скользят по заголовкам, не читая их. Отложив газеты, Петр Тимофеевич включает телевизор. Смотрит он на экран вроде бы сосредоточенно, внимательно, но на самом деле не видит, не слышит и не понимает ничего.

На следующее утро Петр Тимофеевич снова выкладывает в жаркой обжиговой печи широкое и надежное основание для пирамиды огнеупоров. В мозгу по-прежнему, как и вчера, стучит: «Славка! Славка! Славка!» Стучит горько, обидно и перемежается словами: «Не удалось! Не удалось!»

Наверное, что-то еще можно сделать. Можно найти какие-то другие, новые слова, новые доводы. Все можно. Но главное свершилось — и не удалось. Хоть плачь! Его Славка, его частица, его комочек — вырос и отделился. И по-своему, без оглядки на отца думает, по-своему будет жить.

Сырые кирпичи покорно ложатся в одну решетку, поверх нее — в другую, в третью, поднимаются по середине основания конусом, чтобы вырасти в ажурную башню, подпирающую свод.

В обед, в столовой, Петр Тимофеевич уносит свои тарелки в угол, на самый дальний столик. Авось, никто не подсядет и не помешает думать. Но сейчас же вслед за ним ставит на этот столик свой пестрый поднос тонкогубый каталь Сережка. Тарелки с подноса он переставляет медленно, солидно, так же солидно уносит пустой поднос и возвращается. Петр Тимофеевич невольно отмечает про себя эту солидность, основательность каждого Серезкиного движения. Работает Сережка быстро. Но с вагонеткой не повольнишь — в три глотки заорут со всех сторон. А тут вот — на свободе.

Так же солидно Сережка уминает винегрет, полтарелки крошки и после этого решает передохнуть.

— Вы вчера шкаф-то купили? — тихо интересуется он.

— Шкаф? — удивленно переспрашивает Петр

Тимофеевич. — Какой шкаф? — И вдруг вспоминает вчерашнюю свою оплошку, отрицательно качает головой. — Нет, не купил.

— А то есть тут одна идея... — как можно небрежнее произносит Сережка. — Если, конечно, вы не хотите полированный... Сосед мой шкаф продает. Недорого. За полцены. Светленький, чистенький, новенький совсём. Трехстворчатый. Только что углы закруглены. А сейчас не модно с закругленными углами. Модно с прямыми. Он женится и обставляет дом под высший модерн. Вот и надо заменить шкаф. Но вы не сомневайтесь — шкаф отличный. Я смотрел вчера. Только что не полированный и с закругленными углами.

— Кто он, твой сосед? — спрашивает Петр Тимофеевич. — Рокфеллер?

— Не-е! — Сережка ухмыляется. — Валька-то? Он подручный сталевара. В мартене. А отец его был горновой мастер. В доменном. Деньгу зашибал — дай бог! Полгода назад он умер. Дом теперь Валькин. Ну, мать — не в счет. Она Вальку слушается. А невесту он берет из копировщиц. Стильная девка!.. Он бы вам шкаф-то привез — прямо домой. Ему все равно, куда везти — вам или в комиссионку. Лишь бы деньги быстрее.

Петр Тимофеевич пристально глядит на нового своего каталья и тихо спрашивает:

— А скажи, парень, почему ты именно в наш цех пришел? Садчиком хочешь стать?

— Не-е! Я в садчики не лезу. Я уже спрашивал — на садчика два-три года учиться. А я через год уйду.

— Куда?

— В институт. Мне бы стаж заработать. Год-то я у отца был — в лекальном отделении инструменталки. Работа там приятная. Только считается — подсобное производство. А лучше, чтоб с основного. Вот и перешел. Ну, и грошей тут побольше. К институту приденусь. Потом-то на стипендию сколько тянуть!..

— А что ты вообще в жизни хочешь делать?

— Да все равно. Я не привередливый. Работы не боюсь. Платили бы нормально. Чтоб машину купить. И вообще — не считать сантимы. Ну, и чтоб не слишком уж гнутьесь. Я ведь вижу, как вы вкальваете. Ненадолго и я бы так согласился. А на всю жизнь не светит. Сейчас век другой. После работы тоже нужны силы. Иначе и жизни не попробуешь.

— Тогда почему в институт? Почему, например, не в торговлю? У многих продавцов свои машины.

Сережка усмехается, растягивая тонкие губы, качает головой.

— От таких машин сон тревожный. И перспективы мало. А дипломчик откроет любую дверь. И до директора с дипломчиком можно дойти и даже в министры. Все из одного теста сделаны. С дипломом ничто не заказано.

— Надеешься дойти? — чуть прищурившись, спрашивает Петр Тимофеевич.

— Как повезет... — Сережка берется за бифштекс, густо посыпанный зеленым луком. — Заметят меня, понравлюсь — могут быстро поднять.

— Ишь ты! — Петр Тимофеевич тоже склоняется над тарелкой. — Значит, хочешь понравиться...

Про себя он сравнивает этот разговор с тем, что слышал вчера от сына. Славка говорил о деле, только о деле, которому хочет отдать жизнь. А этому нужна машина, да работка непильная, да грошей вволю. Тоже жизненная программа. И нередкая, к сожалению.



Видно, до Славки-то этому каталоу еще расти, хоть Славка и моложе. Да и дорастет ли — без посторонней-то помощи? За него и взяться не успеешь — помашет ручкой, уйдет. Всего год впереди. Хотя, конечно, год — это тоже срок. Целый год под боком будет парень, которому долгонько кто-то сбивал мозги набекрень. Может удастся кое-что объяснить?

После обеда Петр Тимофеевич красивыми, стройными рядами ставит в обжиговой печи стопорные трубки и конусные стаканы и видит, что легло сегодня все очень удачно, просто на редкость, и войдет в закладку опять никак не меньше сорока восьми тонн. Удачный день! Все-таки верно говорил как-то на праздничном собрании начальник цеха, что труд садчика — это венец каменной работы. Даже самый слабый садчик легко заткнет за пояс любого лучшего каменщика. Даже самый искусный каменщик долго будет ходить в учениках, если задумает сделаться садчиком.

В конце смены Петр Тимофеевич выравнивает стенку огнеупоров и прикатывает к ней плотную бумагу из рулона. Бумага прилипает, как приклеенная — прижимается воздушной тягой. Катали закладывают кирпичом арочные входы в печь, и по-

кидает ее бригада садчиков. За двое с лишним суток огнеупоры подсушат горячим воздухом, обожгут нестерпимым жаром мазутного пламени, затем охладят и лишь после этого откроют для выгрузчиков, которые под струей холодного воздуха будут укладывать огнеупоры в вагонетки и отправлять на склад.

Входят огнеупоры в печь серыми. Выходят желтыми. Входят глиной, которую ногтем раскрошишь. Выходят камнем, который не берет расплавленный металл.

Не так ли и с парнями, которые приходят на завод? Может, не мешать Славке? Пусть обожжет его да закалит, и получится кремений-человек. Такой, которому ничто не страшно.

...Снова тянется знакомая до щербинки дорога домой. И снова неотвязные мысли о Славке и о том, что будет с его жизнью, с его судьбой, которую парень твердо, хоть и рановато, берет в свои руки. И только слова «Не удалось!» почему-то не мучают сейчас Петра Тимофеевича. Даже совсем не выговариваются. Может, просто у страха глаза велики? Может, со Славкой-то как раз удалось? А вот удастся ли все это у каталя Сережки?..



Рассказ

С. БУНЬКОВ

Рисунки В. Бубенищикова

Сегодня последний день зимних каникул.

Бьется о ставни вьюга. Вздрагивают железные штыри, пропущенные сквозь стену и закрепленные в комнате небольшими клиньями. Холодно там, за окном.

Я распахиваю печку, размешиваю кочергой угли, колочу по головешкам. Стелются голубые языки пламени. Раскаленная голландка дышит жаром. Жжет лицо, жжет колени. Я отодвигаю березовый чурбак, на котором сижу возле печки, поворачиваюсь к теплу боком и, скосив глаза, смотрю на огонь. «Если бы такой огонь был тогда, в ту сумасшедшую ночь...»

Огонь завораживает. Огонь притягивает к себе. Там, за окном, морозная непроглядная мгла. И вьюга бесится, стонет. Здесь тихо, покойно. В такие минуты думается обо всем и ни о чем. Думается о путниках в степи. Об африканских жирафах. О тоскливых песнях и злой доле, о замерзающем ямщике. И еще о том, например, что... надо к завтрашним урокам решить задачи по алгебре и выучить наизусть «Чуден Днепр...»

Отрывок я начал учить давно — привык по литературе забегать вперед. И теперь хочу проверить свою память и начинаю тихо-тихо шевелить губами:

— Чуден Днепр при тихой погоде...

Как странно. За окном метель, жгучий холод, а я вижу сверкающее раздолье дремлющего Днепра, его золотые плесы, дышу прохладным речным воздухом и не могу оторвать взгляда от его древних круч.

Чуден Днепр...

Наверное, это Галина Петровна, ленинградская учительница, научила нас так явственно представлять то, о чем пишут большие художники слова. Пожилая, некрасивая и очень сутулая, Галина Петровна, когда мы читали вслух отрывки, замирала на месте, распрямлялась и настороженно вслушивалась в каждое слово, в каждую интонацию. Со стороны могло показаться, что слышит все это она впервые.

Чуден Днепр...

В комнате слышно, как шумит за окном метель. А на кухне, на широкой русской печи ворочается с боку на бок мать. Я знаю: она не спит. Вечером сказала тихо, со щемящей тоской в голосе: «От

Гриши опять нет писем...» И замолчала. А сейчас она расплетает в ночной бессонной тишине свои думки и тихо вздыхает. Брат Гриша снова, наверное, на передовой после короткой передышки в тылу. Он артиллерист, воюет на Волховском. В боях разве до писем?

Угли догорают, я еще раз беру кочергу, неторопливо размешиваю их, прикрываю дверцу. Комната погружается в темень, только на стене дрожит узкая полоска света.

Я вижу опять неоглядную степь. Я вижу ее каждый вечер, как только наступают сумерки. Она словно преследует меня. Тогда, днем, степь сверкала на солнце крупными снежными блестками, казалась чистой, веселой. А вечером погрузилась в темень, стала враждебной и дикой. Я будто вновь ощутил, как шуршит у меня под ногами крупчатый снег, как хватаю простуженным горлом ледяной воздух...

Лучше бы не думать, но это невозможно. Слишком дорого заплатил Колька Новиков за этот рейс.

Сегодня хотел его повидать, но врачи не пустили: «Рано еще к нему, молодой человек, потерпите». Сказали так, будто и впрямь терпеть должен я, а не Колька, у которого отморожены ноги.

С Колькой судьба свела меня еще летом. Месяца полтора я числился у него стажером. В свои пятнадцать лет я был рослым и крепким, мог крутить заводную ручку, помочь погрузить и разгрузить полуторку, заменить колесо. И завхоз Сергей Лукьянович Рыжиков определил меня стажером на одну из двух полуторок, которые каким-то чудом сохранились в

райпотребсоюзе. На одной, получше, работал старый водитель, вернувшийся из-за ранения с фронта, а на другой, развалюхе, — семнадцатилетний Колька Новиков.

Мы не столько ездили, сколько ремонтировали машину. Везде. На дороге, на складах, где грузились, на лесных полянах. Летом возили на покос рабочих, в сельпо — соль и мыло, из леса — дрова. Пожилого шофера наряжали в дальние ответственные рейсы, а Колька был на подхвате — куда пошлют. Высокий, худощавый, он по утрам вразвалочку подходил к завхозу, притрагивался кончиками пальцев к замасленной кепке, освещался:

— Куда сегодня, Сергей Лукьянович?

Рыжиков с минуту думал, затем извлекал из потрепанного клеенчатого портфеля путевой лист, заполнял его и, вручая, напутствовал Новикова:

— Поедешь нонче в деревню, да смотри, не балуй, запчастей все равно нет...

Ездить с Колькой было весело. Спустит колесо, Колька сам себе командует:

— Стоп, родимая. Сейчас мы тебе наведем марафет.

Извлекает из-под сиденья латаную перелатаную камеру, заставляет меня:

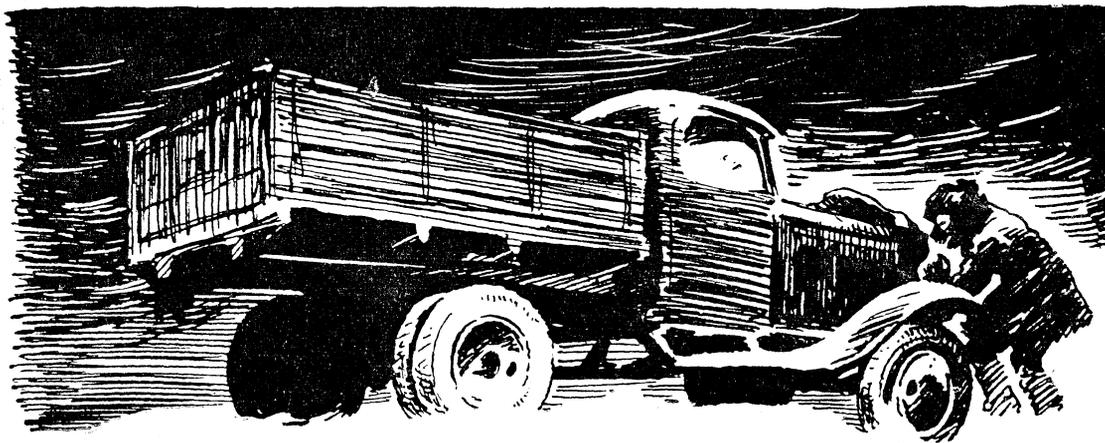
— Качай, тренируй мускулы.

Я тренировал — часто и добросовестно. А потом мы забирались в кабину и, как только машина набирала разгон, Колька заводил песню:

Перебиты, поломаны крылья,

Дикой болью всю душу свело...

Баранку он крутил одной правой рукой, а левая, согнутая в локте, покойно



лежала на дверце машины. Песен Колька знал великое множество. Пел он и веселые, и тоскливые. Чаще других заводил про Кольку Снегирева, отчаянного шофера, который ездил по Чуйскому тракту и влюбился там в Раечку. В ту самую, которая работала на «форде» и по чьей вине разбился Колька Снегирев.

Когда Колька кончал эту песню, его светло-карие, с рыжинкой, глаза наливались тоской, он надолго умолкал.

«Переживает», — догадывался я, и тоже молчал...

Осенью я распрощался с Новиковым, надо было идти в восьмой класс. А перед зимними каникулами встретил Кольку у кассы кинотеатра. Он, как взрослому, пожал мне руку, с легкой усмешкой спросил:

— Ну, как, Самара, дела? Скоро выбьешься в академики?

— Теперь уже скоро, — заверил я Николая.

— Не говори, Самара, в бане шайками забросают, — свернул Колька любимую поговорочку и уточнил: — В каникулы-то опять баклуши будешь бить?

— Да вроде того.

— А работнуть на пару не хочешь?

— Так ведь не примут, каникулы-то всего двенадцать дней.

— Ничего. Заходи. С Рыжим я всегда сталкиюсь, ты только того, свистни мне, если надумаешь.

Колька отошел неторопливой развальной походкой — высокий, сильный и независимый. «Колька-жиган», — вспомнил я уличное прозвище Новикова.

Слово свое Колька сдержал: завхоза уговорил. Первого января я спозаранку протирал мотор ветошью, проверял, сколько залито автола, заглядывал под радиатор — не течет ли? Николай, когда появился в гараже, присел на верстак, вынул кiset с самосадам, газету. Скрутил «козью ножку», выкурил ее, покашливая, и молча полез в кабину. Подал заводную рукоятку, приказал:

— Крутани, Самара.

С утра мы повезли в столовую большие весы. Разгрузили и часа два не могли завести мотор. Попеременно крутили до зеленых кругов в глазах, ничего не помогало. Только когда протащили машину квартала два трактором, мотор завелся.

Во второй половине дня Рыжиков приказал отвезти хлеб в детдом.

— Мотор барахлит, начальник, — предупредил Колька завхоза, но тот отмахнулся:

— Он у тебя завсегда барахлит. А ребяташки без хлеба сидят. Давай, двигай!

Колька что-то пробурчал себе под нос и полез в кабину.

За город мы выехали в сумерках. Езды немного, всего каких-то тридцать километров, но дорога ухабистая, разъезженная, на нашей старушке не очень разгонишься. Николай хмуро смотрел вперед, то и дело переключал передачи. Машину подбрасывало, на подъемах мотор натужно гудел и Колька, работая педалями, приговаривал:

— Давай, давай, бабуся, выручай!

Проехали большое село, выехали за околицу. Николай затормозил, вышел из кабины. Пнул одно колесо, другое. И только сейчас я обратил внимание, что Колька обут в сапоги. Это при морозе около сорока градусов.

— Сдурел, ты, что-ли?! — по-свойски набросился я на него.

— Обойдется. Я же не знал, что в деревню поедем. А валенки в починке. Ладно, двинули! — Колька включил фары и осторожно повел машину дорогой, которая пролегала пашнями.

Короткий разговор, видимо, вывел Кольку из оцепенения. Он пристукнул ладонью по баранке, обернулся ко мне, лицо его осветила озорная улыбка.

— Споем, Самара, а то, смотрю, ты совсем скис. — И запел низким хрипловатым голосом:

Ты жива еще, моя старушка...

Подтягивать ему невозможно, потому что пел он на какой-то свой, особый манер. Несильный рыдающий Колькин голос наполнял кабину тоской, безысходностью. Темень все гуще обволакивала машину и только свет фар вырывал впереди кочковатую дорогу.

Я слышал, что Колька рано остался без отца, а через год и мать бросила его, отдала тетке и уехала на север, на заработки. С тех пор будто бы она не приезжала и писем не писала. Как в воду канула. Колька рос дичком, учился кое-как, водился с кем хотел, в школе и на улице слыл забиякой. После шестого класса сбежал от тетки, но через полгода вновь вернулся — грязный, оборванный и угрюмый. На теткыны расспросы не отвечал, но вести себя стал смиреннее, приутих. Поступил на работу, потом — на курсы шофера.

ров. Кольке вот-вот должно исполниться восемнадцать и тогда он пойдет на фронт.

— Танкистом буду, — сказал мне еще летом Николай...

Я не сразу уловил перебои в моторе, это Колька почувствовал что-то неладное. Оборвал песню, начал дергать подсос горючего, переключать передачи. Ничего не помогало, мотор заглох. Машина по инерции прокатилась еще метров десять и остановилась.

— Эх, ты, елки-моталки, не раньше, не позже! — с досадой проговорил Колька, сдвигая на лоб шапку.

Мы выскочили из кабины. Кругом — глухая мертвая тишина. Мороз был сильный и после теплой кабины по телу пошел озноб. Колька проверял зажигание, карбюратор, я подсвечивал ему переноской. Все как будто было в порядке и Колька скомандовал:

— Крути!

По очереди мы крутили не меньше часа, но мотор только жалко всхлипывал да иногда чихал. В такие минуты Колька кричал:

— Крути сильнее, полным оборотом!

Я выбивался из сил, ловил, задыхаясь, открытым ртом морозный воздух и крутил, крутил. Когда рукоятка бессильно падала, ко мне подскакивал Колька и с остервенением рвал рукоятку. Не помогала и его медвежья хватка. Мы оба обессилели, Колька костерил Рыжего самыми отборными ругательствами, крутил «козьи ножки», и красный уголек его сигарки был в тот момент единственным огоньком в степной глуши.

Измученные, мы забрались в кабину. Надеяться не на что. Кто, на ночь глядя, поедет в чистое поле? Ждать до утра тоже нельзя. От железной кабины веяло холодом и, чем дольше, тем больше она будет настывать. К утру можно окоченеть.

— Давай, Самара, думай! — заговорил вдруг Колька. — Будем принимать решение. Нам оставаться здесь ни к чему.

— Сам знаю, что ни к чему, — буркнул я, не понимая, куда клонит Новиков.

— Ну, если знаешь, тогда все в порядке, — обрадовался Колька. — Тогда вот что. Дуй в деревню, найди там заведующего детдомом и все обскажи как следует.

Мне представилась длинная ночная дорога, почти осязаемо я почувствовал,

как мороз пробирается под полушубок и робко предложил:

— Пойдем вместе, Николай... Вместе веселее.

— Вместе, говоришь? — тихо и как-то зловеще спросил Новиков. — Ха-а-рош ты, как я посмотрю, хар-р-ош... А я-то думал.

Что думал обо мне Колька, я так и не узнал. Меня ошеломили его слова и крутой тон, его презрительное «ха-а-рош».

— Ты чего? — спросил я, теряясь в догадках.

— Ничего, — по-прежнему сердито сказал Колька. — А о них ты подумал, о ребятишках детдомовских. Без хлеба хочешь оставить? Да если кто приبلудный уволокет хлеб, где мы его возьмем? А там знаешь, сколь ртов ждут.

Мне стало стыдно от Колькиных слов. Как же я не подумал о том, какой груз и кому везем мы с Новиковым.

— Тогда, может быть, ты пойдешь в деревню, — предложил я. — Все-таки в сапогах сидеть на месте...

— Ну вот еще! Ты что, не знаешь закон: капитан последним покидает корабль... Решено и подписано. Смотри, не сбейся с дороги. — А когда я уже открывал дверцу, Колька придержал меня за плечо. — Возьми вот мой шарф, замотай лицо, а то еще обморозишь.

Закутанный до глаз Колькиным шарфом я двинулся в путь. На небе кое-где тускло мерцали звезды, но темнота не рассеивалась, луна уплыла куда-то в густые плетные облака. Под ногой хрупал настывший снег. По расчетам, до деревни оставалось не больше семи-восьми километров и, если шагать в полную силу, через час с небольшим я должен дойти до цели. Должен!

Больше всего я боялся сбиться с дороги. И еще волков. Нарвешься на стаю — поминай как звали. Тайком от Кольки я захватил большой гаечный ключ. Он оттягивал карман полушубка, но идти с ним было спокойнее.

Вначале, чтобы веселее было идти, я про себя считал, но часто сбивался и начинал снова. Потом устал считать и стал думать о том, чем занимается сейчас Колька. Ну, чем он может заняться в пустой кабине? Потом засосало под ложечкой, я почувствовал, что хочу есть. Там, в кузове машины, остались мешки с хлебом, который ждут детдомовцы. Эта мысль подстегнула меня.



«Вот тебе и Колька-жиган...» — подумал я, вспомнив, как он объяснил мне, почему должен остаться.

Дорога казалась нескончаемой. Шуршал под ногами снег, я спотыкался на кочках, оскальзывался в ямах, а в мозгу застряло вот это: «Чуден Днепр». Шепотом, едва шевеля посинелыми губами, бормотал я гоголевские слова.

— Чуден Днепр...

Мать, наверное, извелась. Она ведь не знает, что мы поехали в деревню. Смотрит из окна в окно, прислушивается, не звякнет ли щеколда калитки.

Мороз все крепчает. И все больше оттягивает гаечный ключ мой правый карман. А Колька, наверное, стучит сейчас жесткими, как колодки, сапогами, и ждет, когда же придет подмога.

Началась поземка. Ветер дул с правой стороны, засыпал дорогу, жег лицо. Я отворачивался, шел боком, пробовал бежать. Вдруг сквозь густую пелену засверкали огоньки. Едва приметные, пугливые в этой стынувшей ночи, но огоньки!

Я устремился на огоньки, к свету, к людям.

Обратно я ехал в кабине гусеничного трактора. Пока заведующая бегала к председателю сельсовета, меня в детдоме покормили перловой кашей, напоили горячим чаем. Мне даже удалось подсушить портянки и рукавицы. И теперь только тревога за Кольку не давала мне покоя.

Прошло не меньше четырех часов с тех пор, как он остался в поле у заглохшей машины. Один. Да еще в сапогах. Эх, елки-моталки, до чего ж иногда людям не везет.

Колька, скрючившись, полулежал в кабине. Ноги в сапогах он подобрал под себя, прикрыл полушубком. То ли он дремал, то ли устал ждать, но встретил нас равнодушно.

— Приехали. Ну, ладно, Самара, цепляй буксир.— Только и сказал.

Мы с трактористом быстро приладили трос и двинулись к деревне. Железо настало и в кабине с мертвым мотором было еще холоднее, чем на улице. Колька держал руки на баранке и за всю дорогу не проронил ни слова. В деревне, у детдома, когда машина оста-

новилась, я сразу выскочил, чтобы отцепить трос. Только сбросил я с клыков стальную петлю, как услышал тихий Колькин голос:

— Помоги выйти.

Николай оперся на мое плечо, шагнул на подножку и чуть не свалился.

— Ты что?

— Ноги,— выдавил Колька.

Вдвоем с трактористом мы затащили Николая в дом, с трудом сняли задубевшие сапоги и под портянками увидели побелевшие Колькины ноги... Мы по очереди растирали их снегом, потом заведующая где-то нашла водки, и мы втирали водку, потом смазали ноги не то гусиным, не то каким-то другим жиром и закутали в шерстяные одеяла.

Ни водка, ни гусиный жир не помогли. К утру Колькины ноги стали покрываться злоеющей чернотой.

— Надо везти в больницу,— суетилась заведующая.

К обеду из города пришла вторая наша машина, и мы отвезли Кольку в больницу. У него началась гангрена.

Вчера Николаю ампутировали обе ноги. И лежит он теперь на больничной койке. С культями вместо ног. Не сможет пойти отчаянный Колька-жиган на фронт. И не ездить ему наперегонки с шальным ветром на новой машине, о которой все время думал Николай.

...Хлещет в оконные стекла вьюга.

ИСТОРИЯ ДВУХ АВТОГРАФОВ

1. «На добрую память земляку...»

Эта пожелтевшая любительская фотография долгие годы хранилась в семейном альбоме Юрия Александровича Кузнецова, живущего сейчас в Пензе. На ней изображен Федор Иванович Шаляпин в морской форменке. На фотографии строки автографа: «На добрую память земляку Александру Кузнецову от Ф. Шаляпина. 1907. Октябрь».

Хозяин альбома рассказал об истории этого снимка. К нему он перешел после смерти отца. Александр Филиппович Кузнецов был коренным волгарем, родом из Самары (ныне город Куйбышев). С детства полюбил он бескрайние волжские просторы, и конечно же, раздолжные русские песни, без которых не представить великой русской реки. По словам Юрия Александровича, его отец не пропускал ни одного концерта, ни одного оперного спектакля. В театр ходил не один, обязательно покупал билеты для всех членов семьи.

Царскую службу Александр Кузнецов проходил на Черном море, был дальномерщиком на крейсере «Память Меркурия». После Февральской революции матросы избрали его членом своего судового комитета.

Но где и когда повстречался матрос с великим артистом? Почему Федор Шаляпин одет в матросскую форму? Где и когда он пел?

Первым начал поиски цензен-

ский журналист Василий Яковлевич Шумилин. Он послал запрос в Ленинград. Из Центрального военно-морского музея сообщили: «В музее каких-либо документальных данных о деятельности Ф. И. Шаляпина нет. По рассказам отдельных моряков-ветеранов известно, что Федор Иванович неоднократно выступал в концертах на Балтийском и Черноморском флотах. Матросы любили слушать народные песни в исполнении Ф. И. Шаляпина».

Фотографии певца в морской форме не оказалось и в Центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина. Ничего не знали там и о посещении им крейсера «Память Меркурия». Но они прислали в Пензу адрес Ирины Федоровны Шаляпиной, порекомендовали обратиться к ней.

Дочь великого русского артиста ответила сразу. Она подтвердила, что летом 1917 года Федор Иванович выезжал в Севастополь. На Приморском бульваре он исполнял «Песнь революции» вместе с хором матросов с военных кораблей. Одет был Шаляпин в матросскую форму, в руке держал багряный стяг.

Возможно, в тот день на Приморском бульваре был и матрос с «Памяти Меркурия»? А может, он и сам пел в матросском хоре?

Снимок этот редкий. Вот строки из письма литературоведа и исследователя творчества Шаляпина — Андрея Николаевича Телешова: «У меня очень большое собрание шаляпинских фото (более 2500) и других материалов, но такого снимка нет».

«Да, эта карточка действительно редкая», — написала в Пензу Ирина Федоровна Шаляпина.

Почему певец оказался в матросской форме? На этот вопрос помог ответить писатель Лев Никулин. Он вспоминает о том, что, когда летом 1917 года Шаляпин находился в Гурзуфе, к нему приехал матрос с «Пантелеймона» и пригласил его выступить перед моряками в Севастополе. Тогда-то артист и получил в подарок форменку, тельняшку и бескозырку с георгиевскими лентами и надписью золотом — «Пантелеймон».

Вот что писал Лев Никулин в очерке «Федор Шаляпин»: «Он взял с дивана матросскую бескозырку, надел ее на себя правильно, примерив так, чтобы кокарда пришлась над переносицей, — и вдруг я увидел красавца-матроса, хоть сейчас в гвардейский экипаж...»

Долгое время не было известно, когда же встречался Федор Шаляпин с моряками Черноморского флота. И вот письмо от Екатерины Михайловны Трифоновой — жены бывшего врача соединения военных кораблей. Она присутствовала на концерте, когда Шаляпин пел на Приморском бульваре.

...Из Гурзуфа певец приехал в Севастополь, чтобы выступить с концертом в пользу солдат и офицеров, раненных на фронтах мировой войны. Почти две недели он разъезжал по кораблям и слушал матросские песни. Лучшие голоса отбирались в состав вокального ансамбля. Федор Иванович проводил репетицию и с матросским духовым оркестром.



Екатерина Михайловна в своих воспоминаниях писала: «Но вот шум толпы затих. На сцену вышли моряки в бескозырках с ленточками. За ними с высоко поднятым красным стягом, в матросской форме, но с обнаженной головой, шел великан — Федор Иванович Шаляпин. Он был на голову выше хористов. Зрители встретили его бурными аплодисментами.

Концерт артист начал «Песней революции», слова и музыку которой создал сам... Пел Федор Иванович вдохновенно. Ему аккомпанировал духовой оркестр. На пианино играл композитор Якобсон.

Вместе с матросами Шаляпин пел русские и украинские народные песни. В программе концерта были арии из опер. Публика горячо принимала артиста, вызывая его на «бис».

Он спел романс Даргомыжского «Старый капрал» и «Песнь о блохе». Особенно запомнилась присутствующим его интерпретация украинской народной песни «Оженился комар», исполненная с таким юмором, что слушатели своим хохотом временами заглушали даже мощный голос певца.

После концерта публика не расходилась, хотела еще увидеть своего любимца у выхода с бульвара. Но хористы вынесли его на руках по задней дорожке прямо к машине».

Встреча была летом, а автограф на фотографии помечен октярем. Значит, была еще одна встреча. Может быть, дальномерщик с крейсера навещал Шаляпина в Гурзуфе или провожал его при отъезде из Крыма? Возможно, он приглашал его на крейсер? Ясно

одно, что у них была встреча, разговор о Волге, на берегах которой оба родились — один — в Самаре, другой — в Казани. Только так и мог появиться автограф — «На добрую память земляку»...

О. САВИН

2. «Не забывайте меня...»

В Москве, в квартире одной известной в прошлом певицы, многие годы висел над письменным столом портрет Ф. И. Шаляпина с автографом: «Не забывайте меня, Федор Сергеевич. Ваш Ф. Шаляпин. 16. XI. 909». О том, как он попал к ней и кому адресована надпись, обладательница портрета не знала. Долго она не хотела расставаться с реликвией, но, наконец, решилась.

И вот портрет у меня. Как кто же такой Федор Сергеевич?

Просмотрел книги, журналы, газетные вырезки, но никакого Федора Сергеевича среди знакомых Шаляпина не встретил. Списался с оставшимися в живых людьми, знавшими певца, с театральными музеями и архивами — безрезультатно.

Разгадка пришла неожиданно. На одном из вечеров в Кисловодской городской библиотеке, посвященном Шаляпину, я рассказал о своих поисках, связанных с портретом и автографом Федора Ивановича. После вечера ко мне подошла одна из слушательниц, пожилая женщина, и сообщила, что в Ленинграде рядом с ними жил смешной заика-парикмахер. Он много рассказывал о Шаляпине, говорил, что был дружен с ним. Звали его Федор Сергеевич. Не он ли?

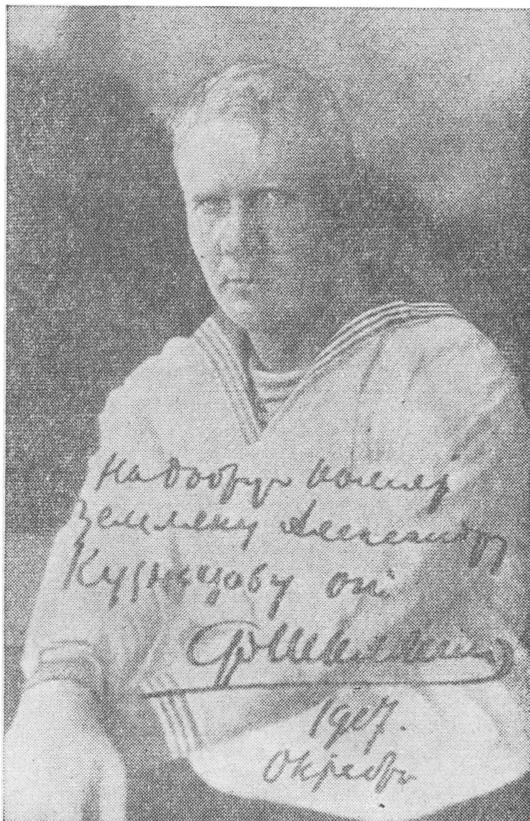
Позднее я, идя по следам

этого рассказа, нашел-таки имя Федора Сергеевича в одном из редких зарубежных изданий — в книге Шаляпина «Маска и душа», изданной в Париже в 1932 году. Вот что писал Федор Иванович:

«Много, воистину, талантливости в русской деревне. Каждый раз, когда я об этом думаю, мне в образец приходят на память не только знаменитые писатели, художники, ученые или артисты из народа, но и простые, даровитые мастера — как, например, мой покойный друг Федор Григорьев. Этот человек в скромной профессии театрального парикмахера умел быть не только художником, что случается нередко, но и добрым, спорым, точным мастером своего ремесла, что в наше время, к сожалению, стало большой редкостью... А театральный парикмахер, — как это ни странно, простой парикмахер — главный друг артиста. От него зависит очень многое. Федор Григорьев делал просто чудеса. В нем горели простонародная русская талантливость и несравненная русская смеливость и расторопность. Был он хороший и веселый человек: заика и лысый — в насмешку над его ремеслом. Подкидывш, он воспитывался в сиротском доме и затем был отдан в учение в простую цирюльню, где «стригут, бреют и кровь пускают». Но и у цирюльника он умудрился показать свой талант. На святках он делал парики, бороды и усы для ряженных и выработался очень хорошим примером. Он сам для себя изучил всякое положение красок на лице, отлично знал свет и тень.

Когда я объяснял ему сущность моей роли и кто такой персонаж, то он, бывало, говорил мне:

— Ддд-умаю, Ффф-едор Иванович, что его нн-адо сыграть ррр-ыжеватым.



И давал мне удивительно натуральный парик, в котором было так приятно посмотреть в зеркало уборной, увидеть себя милое лицо Федора, улыбнуться ему и, ничего не сказав, только подмигнуть глазом.

Федор, понимая безмолвную похвалу, тоже ничего не говорил, только прикашливал...

В профессиональной области есть только один путь к моему сердцу — на каждом месте хорошо делать свою работу: хорошо дирижировать, хорошо петь, хорошо парик приготовить. И Федора Григорьева я сердечно полюбил. Брал его за границу, хотя он был мне не нужен — все у меня бывало, готово с собою. А просто хотелось мне иметь рядом с собою хорошего человека и доставить ему удовольствие побывать в январе среди роз и акаций. Ну и радовался же Федор в Монте-

Карло! Исходил он там все высоты кругом, а вечером в уборной театра говорил:

— Дде-шево устр-трицы стоят здесь, Ффф-едор Иванович! У нас не подступись! А уж что замечательно, Федор Иванович, тт-ак это ссс-ыр, Ффф-едор Ивв-анович, ррок-фор. Каждое утро с кофеем съедаю чч-етверть фунта...

Я с большим огорчением узнал о смерти этого талантливого человека. Умер он в одиночестве от разрыва сердца в Петербурге. Мир праху твоему, мой чудесный соратник!»

Когда я показал моей новой знакомой портрет с автографом, она улыбнулась и сказала: «Вот такой же, в точности, портрет в деревянной рамке висел над кроватью Федора Сергеевича... Да это он и есть!»

Б. РОЗЕНФЕЛЬД

ЗА ПЕСНЯМИ



На Кольском полуострове можно увидеть и обжигаемую ветрами Ледовитого океана горную тундру, и непроходимые леса; побывать в рыбацких поселках и на строительстве Кольской атомной электростанции и погостить в настоящем чуме саама-оленевода.

Мы, отряд следопытов Мурманской школы № 10, отправляемся на Терский берег Белого моря. Он знаменит песнями, семгой, лесом, уникальными памятниками русского деревянного зодчества и главное — людьми-поморами.

Когда и откуда пришли сюда поморы? Предки поморов — выходцы с новгородских земель. На плоскодонных парусных ладьях — ушкуях устремлялись они к берегам полуострова в поисках богатых рыбных и пушных промыслов.

Летопись отмечает, что в XIII веке новгородцы уже собирали дань с саамского населения. Саамы или донь — коренные жители нашего края. Отсюда и прежнее название Кольского полуострова «Лопская земля», «Лапландия», то есть место, где жила лопь. А название «Герь», «Тре» произошло от саамского слова «лес», «лесная местность». Так саамы называли южное, лесистое побережье Кольского полуострова в отличие от северной тундровой части края.

Наш поход начался в Кандалакше.

Раньше считали, что слово «Кандалакша» возникло во времена Ивана Грозного, который ссылал сюда опальных бояр, закованных в кандалы. Теперь доказано, что Кольский полуостров стал местом ссылки только со второй половины XVII века.

Легенд и предположений о происхождении названия города существует немало. Вот как, например, об этом рассказывает краевед Г. Г. Кузьмин: «Давным-давно два брата — Канта и Лахта

облюбовали для своего жилья берега порожистой реки Нивы, богатой царственной семгой. Вот по их именам и назвали люди свое поселение «Кандалахти».

По другой версии название образовалось от саамского «кондас», означающего выюк, и «лухт» — залив. В старину здесь, на берегах Кандалакшского залива, кончался водный путь по Белому морю, и приходилось класть навьючивать на оленьей.

В некоторых источниках название «Кандалакша» объясняется как «сухое место среди болота и залива», происходящее от саамских слов «кант» и «лухт».

Но, по всей вероятности, название «Кандалакша» пошло от имени реки Канда с прибавлением слова «лахти». На берегах Канды когда-то существовали соляные варницы. По-видимому, солевары, переселившись на более удобное место — в устье реки Нивы, и принесли с собой слово «Кандалахти», перешедшее в «Кандалакшу».

В городе мы осмотрели алюминиевый завод, побывали на каскаде Нивской ГЭС. Дальше наш путь лежал к древнейшему археологическому памятнику-лабиринту.

Не видя памятник, каждый из ребят представлял его по-разному. Миша Чернов считал, что это глубокие темные пещеры первобытных людей, из которых нет выхода. Марина Сукманова думала, что это нагромождение скал, нечто вроде «Красноярских столбов». Людя Путанс доказывала, что лабиринты похожи на одесские катакомбы.

И вот, перевалив через гору Барыня, мы оказались у цели.

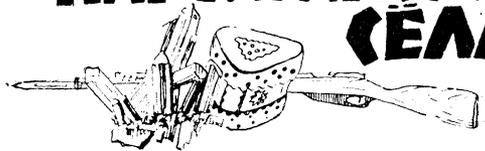
Лабиринт — это сооружение в форме кругов из мелких камней. Памятник обнесен металлической оградой. Читаем табличку: «Министерство культуры РСФСР. Археологический памятник «Каменный лабиринт» датируется 2 тысячелетием до н. э.»

— А что здесь делали первобытные люди? — спрашивают ребята.

Я рассказываю, что лабиринты связаны с культовыми представлениями первобытных людей. Но здешний лабиринт на берегу моря, и можно предположить, что это символ рыбацкого счастья. Наверное здесь исполнялись ритуальные танцы и опытные рыбаки передавали свои знания, свои секреты молодежи.

Ребята фотографируют и зарисовывают лабиринт, а потом рассыпаются по заливу искать камни для коллекции.

В ПАРТИЗАНСКИХ СЕЛАХ



«...На Северном фронте, где наступление на Мурманск обещало неприятелю особенно большие выгоды, где давно уже были собраны англичанами громадные и великолепно вооруженные силы, где нам при отсутствии продовольствия и снаряжения было невероятно трудно бороться, — там, казалось бы, у империалистов Англии и Франции должны быть блестящие перспективы. И как раз там оказалось, что все наступление неприятеля рухнуло окончательно...»¹

Именно на Кольский полуостров сначала ступила нога интервентов в годы гражданской войны, и их кровавый след протянулся от Баренцева до Белого моря. Сейчас мало осталось людей, которые были участниками гражданской войны на Севере, поэтому очень важно записать их воспоминания. И мы спешим в Лувенгу. Шли ночью, днем мешала невыносимая жара.

Это поморское село известно ребятам. Следопыты старших поколений нашей школы были здесь трижды. Все ребята хорошо знают имя старожилы Н. С. Заборщикова, знают его рассказы о том, как поморы, не желая служить в белой армии, уходили надолго из дому на охоту и рыбную ловлю, как партизаны устроили засаду непрошеным гостям — англичанам, забросав их лодки самодельными бомбами.

Н. С. Заборщиков, несмотря на преклонный возраст, выглядит бодрым. Он ведет нас по берегу моря как раз к тому месту, где наши свою бесславную смерть оккупанты. Время стерло следы. Но память народа хранит все — и горе и радость.

Гая Анциферова, наш походный художник, рисует море. А мы любуемся им.

Наше море всегда прекрасно: когда оно черное и голубое, серебристое и разноцветное. Красота его особая — не мертвая, застывшая, а живая, меняющаяся каждое мгновение. Сейчас оно дышит спокойно, ровно, словно сдерживая свою огромную силу.

Иногда море засыпает, и ровная гладь, без конца и без края, превращается в сказочное зеркало...

Мы разбиваемся на группы. Н. С. Заборщиков советует: «Сходите к Архипову Петру Захаровичу. Вон его изба».

Стучимся. «Можно?» На пороге появляется рослый мужчина. «Ну, что стоите? Заходите, коль пришли...» В избе в глаза сразу бросается расписанная прялка.

Ребята спрашивают:

— На ней работают?

— А для чего же ей стоять?

— Для красоты.

— Для красоты в музее, а в дому каждая вещь при деле должна быть. Вот придет старая, она все покажет...

Пока мы рассказывали о себе, о цели нашего похода, пришла хозяйка.

— Ну, мать, угоди гостям, спряди да спой что-нибудь.

Женщина не отказывается.

Она придвинула к прялке стул, взяла пряжу. Закрутилось колесо, и мы увидели, как привычно ловко засновали пальцы мастерицы, тянущие мягкую шерсть.

— Вот вся и премудрость, — объяснила хозяйка и запела вполголоса:

Ах ты, прялица-куделица моя,

Я не выброшу на улицу тебя.

Буду прясти-перепрядывати,

По беседочкам побегивати...

...Мы кудели опрядем, опрядем.

А царя с престола уберем, уберем...

У безобидной песни оказалась политическая концовка...

А в это время куда-то исчезнувший хозяин принес старинную утварь.

— Вот на чердаке валяется. Может, что согонится.

Мы бросились рассматривать изделия.

— Этот короб из бересты, — пояснил Петр Захарович. — На спине удобно носить и на рыбу, и на зверя. Небось лет 150 ему, еще от прадеда достался... А вот солоница, тоже из бересты. А вот тусок...

Он клал мелкие вещи прямо в короб, потом как-то нерешительно достал косу. Она была необычной формы.

— Эту косу, помню, дед ковал. Сталь хорошая. Умел закалить. Про нее он не то сказку, не то присказку сказывал. Да вот, не рассказчик я, а дел ушел...

Мы прощаемся с гостеприимными хозяевами и уносим не только экспонаты для музея, но и память об этих добрых, отзывчивых людях.

Следующая остановка отряда — в Колвице.

На Терском берегу в каждой деревне свои распространенные фамилии. В Колвице почти каждый встречный — Архипов.

Один из наших новых знакомых, дедушка Н. А. Архипов, оказался замечательным умельцем. Из самых обыкновенных лучинок буквально на глазах он делал потешные игрушки: оленей, собак, коров. Игрушки выходили очень веселыми... «Архипыч» — так его зовут соседи — пояснил: «Прежде в продаже у нас игрушек не было. Вот каждый и мастерил, как знал...» Все, что он смастерил, тут же подарил нам.

Войдя в избушку бывшей связанной партизанского отряда Федосьи Семеновны Калиевой, мы почувствовали, будто попали в глубокую старину. Крохотные комнатки, ковш из бересты, сундук.

Федосья Семеновна рассказала нам о своих товарищах — партизанах. Вот отрывок из ее воспоминаний:

«Осенью 1918 года приехали на больших пароходах англичане. Все мои братья ушли в партизаны в Лувенгу. Там в отряде было около восьмидесяти человек.

Англичане выгнали женщин и детей на улицу и заявили, что всех расстреляют, а дома сожгут, если жители не укажут, где спрятано оружие. Потом они псшли по домам. Забирали полотенца, скатерти, украшения, срывали кольца и серьги.

Я была еще девчонкой, но часто ходила к партизанам с поручениями. Знала, где они прячут

¹ Ленин. Соч., т. 30, стр. 58.

оружие. Вот выйдете сейчас на улицу, будет перед вами прямо гора, а у подножия ее большой камень. Он один, не ошибетесь, вот там и закопаны были винтовки и пулеметы.

Раз шла я к партизанам, а навстречу патр-
руль: «Кто такая, зачем по лесу шляешься?»

— Да ягоды я собираю...

— А где партизаны?

Притворилась: «А что такое партизаны? Зве-
ри или ягоды?» Посмотрели они на меня, а я и на
самом деле перетрусилась, аж ноги дрожат. «Пока-
лякали» они что-то по-своему. Видимо, решили:
«Какой с нее прок — девчонка!» И отпустили...

Жестокие это были люди. У одной молодухи
был перстень на пальце, да отекли руки от тяже-
лой работы, не могли никак его снять англичане,
так ведь отрубили палец-то... Изверги... А сколько
домов сожгли на деревне...

...На следующее утро нас разбудил скрип двер-
и и стук тяжелых сапог в сенях. В избу вошли
двое молодых мужчин. «Здоровы будем, мужи-
ки!» — басом приветствовал первый. «Мы на ды-
мок, — добавил второй. — Геологи мы». Было че-
тыре часа утра, ребята нехотя вылезли из спаль-
ных мешков и сонными, равнодушными глазами
стали рассматривать незнакомцев.

— Ну, я вижу, вы раскисли, туристы, —
улыбаясь, густым басом произнес первый геолог. —
Я сейчас вам гостинцев достану, да сказочку рас-
скажу.

На его слова никто не обратил внимания. Но
когда он положил на стол два камня, один из
которых блестел десятками голубых кристаллов,
а другой выделялся лишь красными вкрапинками,
весь отряд, как по команде, выдохнул: «Ух!» А по-
том: «Да это же аметист!» Сон как рукой сняло.

— Ну вот что, тому, кто расскажет легенду
о камнях, подарю оба, — пообещал геолог.

Ребята замолкают, морщат лбы, потом один
неуверенно начинает:

— Значит, так. По-моему, кажется... по пре-
данию богиня охоты Диана превратила в аметист
свою нимфу, чтобы спасти ее от преследований
бога виноградарей Бахуса.

— В общем, правильно, — сказал геолог. —
Могу добавить: аметист, по-гречески, непьяный.
Предание гласит, что если его положить под язык,
то он предохраняет от опьянения. Назван так по-
тому, что его лилово-фиолетовый цвет напоминает
сильно разбавленное красное вино, от которого
трудно опьянеть. На аметисте предписывалось вы-
резать знак луны и солнца. Считалось, что тогда
камень может предохранить не только от опьяне-
ния, но и от отравления.

Геолог положил аметист в сторону и спросил:
«Ну, а что вам известно про эвдиалит?»

— Я расскажу, — вызвалась Люда. — Давным
давно это было. Напали на лопскую землю шведы.
А лопари были безоружны. Шведы стали отбирать
скот, заняли рыбные места, не стало от них жиз-
ни. Тогда собрались старики и стали думать, как
изгнать с родной земли шведов. Собралось боль-
шое войско со всех селений. Долго шла битва.
Много пролилось крови, окрасились ею и горы, и
тундра. Дорогой ценой досталась победа. А кровь
лопская превратилась в камень красного цвета...

— Молодец, — похвалил девочку геолог и по-
дарил нам камни.



И вот перед нами сказочная Варзуга — ко-
нечный пункт похода. С холма нам открылся уди-
вительный пейзаж. Величественная полноводная
река делила широкой лентой на две части помор-
скую деревню. На обрывистом берегу, усеянном
бревенчатыми избами, возвышалась Успенская
церковь — Заполярные Кижи. Высокая, стройная,
она вся устремлена ввысь.

Варзуга славится знаменитым хором, песнями,
богатством народного языка.

Нас ведут по деревне: «Знаем про вас, есть
телеграмма. Пойдете к Каликсении Васильевне
Мирошко. Тутот-ка и будете жывать...»

Каликсения Васильевна — маленькая бойкая
старушка — выходит навстречу.

— Сколь вас тут? Да вы что топчетесь? Сбра-
сывайте мешки-то, небось спину-то набило. Сни-
майте обувки, помойтесь. Я сейчас самовар на-
лажу, чайку откушаете.

Через пятнадцать минут мы сидели за столом.
На домотканой скатерти — пузатый ведерный са-
мовар. Хрустят на зубах ароматные домаш-
ние сухари. А словоохотливая хозяйка рассказы-
вает о житье-бытье «преже». Язык колоритный,
сочный...

— Теперь, конечно, все не так, как прежде. —
продолжала она. — Теперь что, у всех моторы.
Дернул — да поехал. А раньше все руки измо-
таешь, пока плывешь супротив течения двадцать —
тридцать верст. Даже в Кандалакшу плавали, да
и в Архангельск. В море ходили. Небось кресты
видели у моря? Гибли нередко люди. Работы было
много. Да не жаловались. Ведь молодые были.
Сильные. И песни любили. В них, когда тяжело
было, отраду находили. В народе пока песни
живы. Есть старинные. Никто не знает, сколько
им лет. От поколения в поколение передаются.
Да вот молодежь-то не больно знает. Вот помрем,
и песни пропали...

В дом приходят соседи, здороваются и чинно
усаживаются за стол.

Наверно, старушки уловили особым чутьем,
что нам понравилось. Спели песню, а потом еще,
еще... и так два часа.

Два удивительных, незабываемых дня прове-
ли мы в песенной Варзуге.

Спасибо вам за это, варзугчане...

В. В. ДРАНИШНИКОВ,
руководитель похода, преподаватель
школы № 10 г. Мурманска

Более 25 веков насчитывает история Олимпийских игр. Зародились они в Древней Греции и проводились как яркие, самые популярные праздники.

В то время Греция состояла из ряда мелких городов-государств, так называемых полисов, часто враждовавших между собой. Но на время Олимпийских игр заключалось священное перемирие — эхирия. Мечи вкладывались в ножи, смолкал гром войны по всей Элладе.

Игры собирали множество людей. Отдельные государства, подобно тому, как это происходит и сейчас, направляли сюда многочисленные делегации болельщиков. На праздник спешили атлеты, ораторы, музыканты, поэты.

Выступить на играх почиталось за великую честь, и добиться этого права на предварительных отборочных соревнованиях и смотрах было нелегко.

Популярность игр была настолько велика, что греки даже вели по ним летоисчисление, начиная с 776 года до нашей эры.

Победителям игр воздавались всяческие почести. Они могли воздвигнуть в Олимпе статую в честь своей победы и своего полиса. Однако для того, чтобы статуе были приданы черты героя, победить надо было трижды. Изображения героев Олимпиад чеканились на монетах. Они получали большие денежные награды, освобождение от налогов, бесплатное питание и лучшие места в театрах. Победителей спортивных состязаний знала вся Греция.

Возрождение Олимпийских игр связано с именем известного французского педагога и общественного деятеля Пьера де Кубертэна. В 1894 году по его инициативе в Сорбонне собрались представители 34 государств, среди которых был и делегат России, на учредительную сессию Международного Олимпийского комитета. В принятом решении говорилось: «В интересах оживления и поощрения физических упражнений, а особенно в интересах установления дружеских отношений между народами, устраивать в соответствии с эллинскими олимпиадами — спортивные игры каждые четыре года и пригласить к участию все нации».

Первые Олимпийские игры нового времени состоялись в 1896 году в Афинах, на земле древних эллинов.

Греция вдруг отказалась проводить игры из-за финансовых затруднений. Олимпийский комитет организовал кампанию по сбору денег. По-

жертвования купцов и торговцев оказались, однако, каплей в море. Спас дело предприимчивый Деметрис Сакорафос, основатель греческой ассоциации филателистов. Он предложил выпустить первые в мире олимпийские почтовые марки. А деньги, вырученные от продажи их, использовать на проведение игр.

В истории олимпийской филателии немало ярких и замечательных страниц. К сожалению, некоторые интересные факты и спортивные события остались не отраженными в марках. В то же время целый ряд менее интересных фактов преподносился с большой помпой и рекламной шумихой. Нередки случаи и откровенно спекулятивных выпусков марок, чем, как известно, грешат небольшие арабские княжества.

Наш рассказ пойдет о тех, кто вписал наиболее славные страницы в летопись олимпиад, о тех, кто, проявив подлинный героизм и мужество, навсегда оставил свой след в спорте.

На греческой марке 1937 года на фоне ликующей толпы два атлета несут на руках человека. Это — неоднократный победитель минувших Олимпийских игр Диогор из Родоса. А несут его сыновья, тоже, как и отец когда-то, ставшие сейчас победителями Олимпиады. Известно, что сыновья прошли с отцом на руках круг почета. Но сердце старого бойца не выдержало такой радости — Диогор скончался здесь же на стадионе.

Своим национальным героем финны считают прославленного бегуна на длинные дистанции Пааво Нурми. В 1924 году на дорожках парижского стадиона он выиграл для своей маленькой страны четыре золотых медали. Этому замечательному спортсмену посвящены марки олимпийской серии.

1936 год. Олимпийские игры в Берлине. Известие о том, что состязания будут проводиться в фашистской Германии, всколыхнуло мировую общественность. Была сделана попытка бойкотировать игры в Берлине и перенести их в Барселону. Однако начавшаяся в Испании гражданская война помешала этому. XI Олимпийские игры в Берлине состоялись. Это были игры Джесси Оуэнса, выдающегося негритянского атлета, завоевавшего на них четыре золотых олимпийских медали и повторившего подвиг Пааво Нурми.

На почтовой марке княжества Шарджа изображен улыбающийся спринтер века, знаменитый Джесси.

В справочнике «Олимпийские игры. Маленькая энциклопедия», изданном в Москве в 1970 году,

ГЕРОИ ОЛИМПИАД

читаем: «XII Олимпийские игры не состоялись из-за второй мировой войны», «XIII Олимпийские игры. Должны были проводиться в Лондоне... Не состоялись из-за второй мировой войны».

Однако и в 1940-м и в 1944 годах Олимпийские игры состоялись.

Вот один документ, подтверждающий это. На самодельном чемпионском свидетельстве выведено:

«Теодор Невядомский, военнопленный № 4510 завоевал в международных Олимпийских играх военнопленных для Польской республики 1-е место в беге на 50 метров лагерной лягушкой.»

Международный Олимпийский комитет военнопленных. Шталаг XIII-A Нюрнберг-Лангвассер. Сентябрь 1940 г. Год XII Олимпиады.»

В 1944 году состоялись XIII Олимпийские игры — тоже в фашистском концлагере. Вот второй документ, подтверждающий это — в честь XIII Олимпиады была выпущена специальная марка: бегун рвет грудью финишную ленточку. Она аккуратно наклеена на лист бумаги и погашена уникальным штемпелем — на фоне сожженного города, над которым повисли бомбардировщики, реет олимпийский флаг. И надпись: «Год 44. 11 С». Сама марка погашена таким штампом: «Woldenberg. 13. VIII. 44 г. OB — OF — 11 С» — лагерь Вольденберг, дата проведения игр, индексы офицерского барака № 11-с.

Колочей проволокой опутал фашизм Европу. Но олимпийский дух, верность идеалам олимпийской клятвы мира и дружбы, как удивительный цветок на иссушенной земле, расцвел в шталаге XIII-A фашистского лагеря военнопленных в Нюрнберг-Лангвассере.

Игры проводились по шести видам спорта. Велосипедисты состязались на старом велостанке, установленном на двух табуретках. К станку был приспособлен счетчик.

Тяжелый булыжник почти походил на ядро. Из вербного прута со шнурком соорудили лук. Гусиные перья пошли на стрелы. Появился третий олимпийский вид состязаний — стрельба из лука.

Королева спорта была представлена прыжками в длину и бегом лагерной лягушкой на 50 метров.

Олимпийский комитет «замахнулся» даже на волейбол. В качестве сетки вполне сошла бы бельевая веревка с висящим на ней бельем. С этой целью была устроена грандиозная стирка. Правда, первая же встреча была прервана фашистскими охранниками.

Участвовали в играх поляки, бельгийцы, голландцы, норвежцы, югославы, французы... Эльзасец Роже Вирьон — единственный солдат вермахта — был связным и главным судьей соревнований.



Перед нами одна марка. Всего одна. Но она стоит многих красочных выпусков. Эта марка — символ подлинного подвига — навсегда останется самой дорогой реликвией в альбомах филателистов. Она очень редкая: ведь много марок сделать вручную невозможно.

Первой Олимпиадой, в которой приняли участие советские спортсмены, была Олимпиада в Хельсинки в 1952 году. Тогда наша сборная совершила коллективный подвиг. Выступая на таких соревнованиях первый раз, советские спортсмены завоевали 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей!!

Если игры 1936 года называли олимпиадой Джесси Оуэнса, то мельбурнские игры связаны с именем выдающегося советского бегуна Владимира Куца, который победил на двух стайерских дистанциях — 5000 и 10 000 метров.

Популярность Куца в Мельбурне была огромна. Рассказывают, что в бассейне спорили два бодельщика: кто победит в заплыве на 1500 м — американец или австралиец. К ним подошел третий и сказал: «Что вы волнуетесь? Если поплывет Куц, то победит он!»

Олимпийская марка с изображением Владимира Куца была выпущена в СССР.

Венгерский спортсмен Ласло Папп — это целая эпоха в любительском и профессиональном боксе. Папп завоевал золотые медали на трех Олимпиадах подряд — в Лондоне, Хельсинки и Мельбурне! Ласло Паппу посвящена монгольская марка.

Ю. МУЙЗЕМНЕК, В. ЧЕЛИЩЕВ

На вкладке — олимпийские марки



Искусство

советских республик



Г. ТОИДЗЕ

ГРУЗИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!

Само название картины заслуженного художника Грузинской ССР Григория Тоидзе «Грузия, любовь моя!» раскрывает замысел автора. Художник использует приемы старинной настенной живописи, в трактовке фигур обращается к традициям народного искусства.

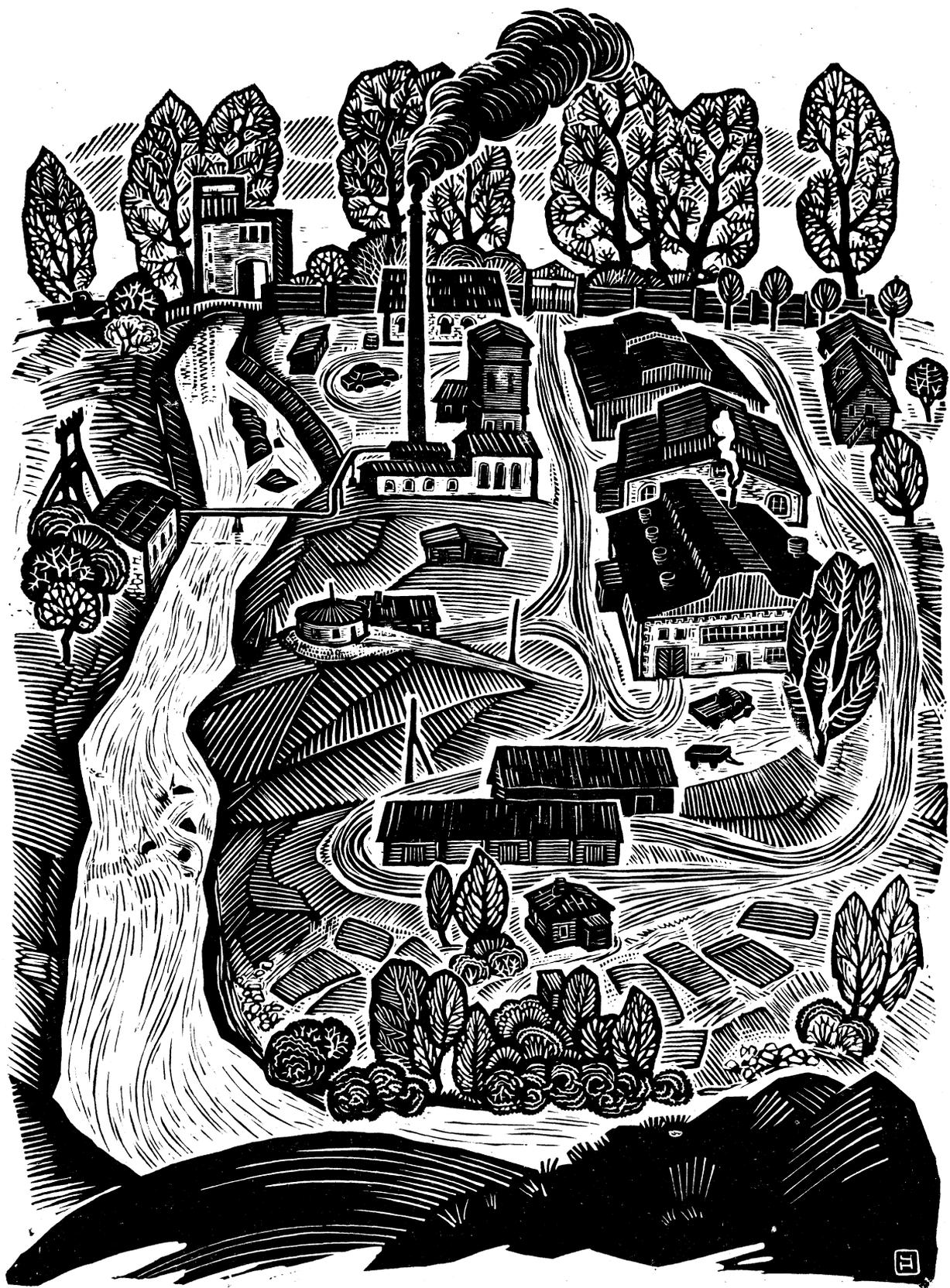


М. САВИЦКИЙ

ПАРТИЗАНСКАЯ МАДОННА

В годы Великой Отечественной войны Белоруссия извела всю тяжесть фашистской оккупации. Однако на значительной территории, контролируемой партизанами, народ продолжал жить по советским законам, с оружием в руках защищая независимость своей Родины, веря в победу и светлое будущее.

Минский художник Михаил Савицкий в картине «Партизанская мадонна» дает обобщенный образ жизни партизанского края. Он взял для этого извечно близкий всем нам образ женщины-матери. Картина дышит глубокой верой в победу — жизнь сильнее войны, сильнее смерти!





Игорь Росоговатский
**ПУСТЬ СЕЯТЕЛЬ
ЗНАЕТ**
фантастическая повесть

Рисунки Е. Стерлиговой

— Не так-то уж много я узнал, — проворчал Еvg, отвечая на вопрос Валерия. — Мудрец проводил меня до пещер и там оставил. Я уж отчаялся ждать, когда он появился с другим осьминогом, и вдвоем они стали растаскивать камни. Как только образовался проход, достаточный, чтобы я мог протиснуться, послышалось: «Идем!» Я последовал за ними. Передвигался медленно, так как «торпеду» пришлось оставить у входа на якоре. Впрочем, в пещерах она не очень бы и пригодилась...

Еvg многозначительно посмотрел на Валерия и без всякой связи с предыдущей фразой спросил:

— Он знает, что такое радиоактивность?

Ихтиолог произнес эти слова обычным тоном, косясь в сторону двери, за которой скрылся осьминог. Затем направился вслед за Мудрецом, сказав:

— Дам ему поесть. Не зря говорят: когда я ем, я глух и нем. А ты пока подумай над ответом.

Валерий не мог, конечно, дать точного ответа. Осьминог был знаком со счетчиком Гейгера, может быть, понял и его назначение, если...

— Тут десять «если», — сказал Валерий Еvgу, когда тот вернулся. — Если у него есть органы, чтобы ощутить радиоактивность... А в общем, не знаю. Но для чего тебе это нужно?

— Мой счетчик Гейгера трещал не умолкая, как только мы приблизились к пещерам. И по мере нашего продвижения излучение становилось сильнее и сильнее...

Валерий насторожился. В памяти пронеслось

первое погружение со Славой, непонятное исчезновение контейнера...

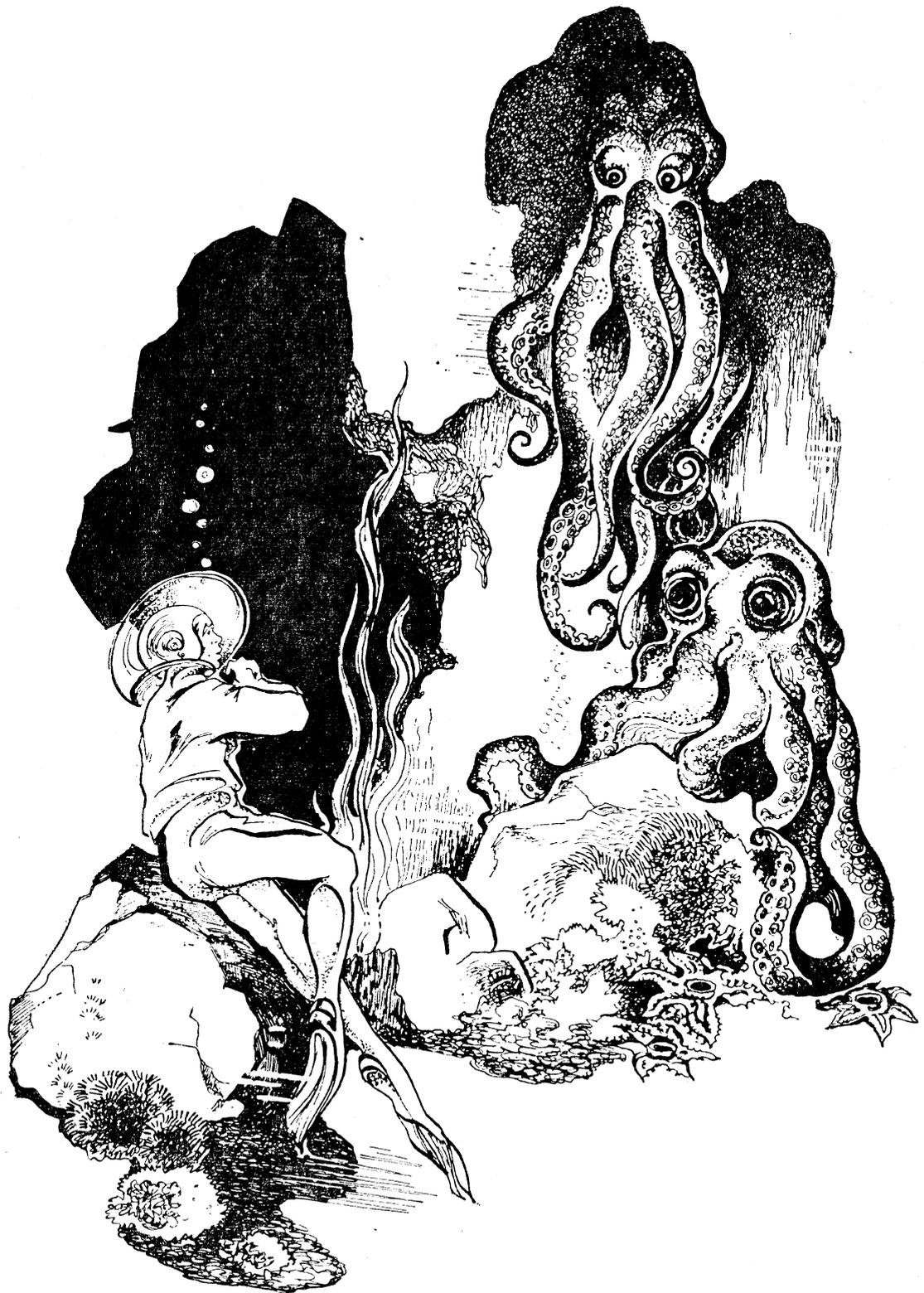
Косинчук продолжал рассказ:

— Я увидел нескольких осьминогов, присосавшихся к камням в различных частях пещеры. Один отдышал в типичной для спрутов «позе философа», другой свисал с потолка, как люстра, и шевелил щупальцами. Третий наполовину высунулся из-за камня и в упор разглядывал меня. Кажется, это были полномочные послы осьминожьего народа. Все они внешне походили на нашего Мудреца. Такое же необычно большое для октопусов туловище, огромные глаза, увеличенные «лбы». Совершенно неизвестный науке вид... Я спросил, почему они оставили свой город и есть ли у них другие города. Один ответил мне, что города им, дескать, не нужны, раз есть пещеры, а два других сразу же засыпали меня вопросами о людях. Их интересовали даже подробности: какого цвета у людей кровь, отдыхаем ли мы, переваривая пищу, как добываем металлы, как создаем пластмассы. Но главное, о чем они спрашивали, — это об источниках жизни. Пришлось рассказать о Солнце, об энергии солнечных лучей, о фотосинтезе. Они схватывали каждое слово буквально на лету, воспринимали понятия, на свой лад дополняли их... Иногда и мне удавалось вставить вопрос. Осьминоги отвечали, но без особой охоты. Они, как дети, больше любят спрашивать, чем отвечать...

«Как дети ли? — подумал Валерий. — Это предпочитают не только дети».

— Я выяснил, что их мышление кое в чем похоже на наше, но есть и существенные отличия. Так, например, они способны воспринимать абстрактные понятия, но ни за что не могут понять,

Окончание. Начало см. в № 4.



что означает слово «море». Для них поверхность моря — это одно, а глубины — другое. Спокойное море ничем не напоминает бурное; место, где водятся одни виды рыб, не похоже на место, где водятся другие. Достаточно, чтобы изменилась температура воды, — и меняется понятие. А слово «океан» они поняли так: места, где могут жить осьминоги и люди. Сушу они вначале тоже посчитали частью Океана.

— Лучше бы они так не считали, — без улыбки заметил Валерий.

Евг на прореагировал на его замечание. Он был увлечен собственным рассказом, заново переживал встречу с осьминогами.

— Кончилось тем, что они поняли слово «суша», как «место, где не живут крабы»... У меня уже кружилась голова от усталости, но я не хотел уходить, не узнав, как они размножаются. Ведь это необходимо будет указать в докладе для Академии. Вообще-то, они должны размножаться яйцами — так же, как все другие октопусы...

— Я читал об этом, — заметил Валерий.

— Мне хотелось хотя бы взглянуть на яйца этого вида, но осьминоги сначала притворились, что не понимают моей просьбы, потом один из них сообщил, что яйца хранятся в особых помещениях и туда никого не пускают. Я спросил, можно ли мне посмотреть один такой «инкубатор», однако они были неуступчивы. Мне даже показалось, что моя просьба чем-то напугала их. Договорились, что посещение «инкубатора» отложим до следующего раза. Но я боюсь, что и при следующей встрече...

Он взглянул на дверь и умолк. Взглядом показал на себя, на скафандр, поднял один палец. Валерий понял, что ихтиолог собирается в следующий раз пойти один, без Мудреца, и каким-то образом заглянуть в «инкубатор».

Им обоим было необходимо отдохнуть, и они легли, выключив свет. Но сон не шел к Валерию. Он пребывал в уже знакомом ему душном дремотном состоянии. Предчувствие опасности настаивало, а сон снова опускал веки, как створки раковины.

Послышался отдаленный шум, плеск. Затем раздались иные звуки — будто спортсмен-новичок после дальней дистанции вылез из воды и, отдуваясь, тяжело шлепает к скамье. Звуки приближались...

Валерий заставил себя открыть глаза. Он увидел, как ручка двери повернулась. В узкую, почти незаметную щель стал втискиваться огненный паук. Та часть его туловища, которая прошла в дверь, вначале была плоской, как блин. Но вот она раздулась, словно паук переливал в нее остальную часть своего тела, оставшуюся за дверью.

Ожидание становилось невыносимым, и Валерий вскопился на ноги, почти одновременно включив свет в салоне.

Как только зажглись плафоны, огненный паук потух. Перед Валерием сверкали глазами спрут. Некоторые его щупальцы были скручены, другие — вытянуты, будто он не решил, нападать или защищаться.

— Что тебе нужно? — спросил Валерий.

«Хотел посмотреть, оба ли вы здесь».

— Зачем?

Заспанный Косинчук протирает глаза, с удивлением глядя на осьминога.

«Хотел проверить».

— Зачем?

«Чтобы знать, что вы здесь».

— А если бы нас не было?

«Вас обоих или одного из вас?»

— Допустим, обоих.

«Знал бы, что вас нет?»

— А если бы одного?

«Знал бы, что нет одного».

— Для чего тебе это?

«Чтобы знать».

Валерий оказался в тупике, не зная, в какой форме задать вопросы, чтобы вынудить спрута рассказать о цели ночного визита. Евг переводил взгляд с одного на другого. Он сказал осьминогу:

— Ты не должен приходить сюда, когда тебя не зовут. Ты помешал нам спать.

«Не знал, — ответил осьминог. — Не приду, пока меня не позовут».

— Вот и хорошо. А теперь ступай.

Уже находясь за дверью, осьминог произнес: «Не ходи, когда тебя не зовут».

Люди переглянулись.

— Волнуешься? — спросил Евг.

— Он светился, — растерянно сказал Валерий, подходя к двери и запирая ее на засов.

— Многие глубоководные способны светиться в темноте. Так они подманивают добычу... Давай спать. Утро вечера мудреней.

«Тем более, что утром он собирается...» — подумал Валерий и оборвал мысль. Услышал, как заскрипела откидная койка, и позавидовал выдержке товарища.

Косинчук не возражался. Прошло уже больше пяти часов, и Валерий начал волноваться. Ихтиолог надел облегченный скафандр, запасов воздуха, включая и «НЗ», у него оставалось часа на полтора.

Спрут сразу ощутил отсутствие ихтиолога и спросил из-за двери:

«Где второй?»

— Пошел по своим делам, — ответил Валерий. Его злило назойливое любопытство осьминога. «Все равно ведь знает, — думал он. — А спрашивает так, будто я обязан отвечать».

«Разве у вас не общие дела? Он пошел по своим и твоим делам к моим братьям? Меня не взял... Плохо».

— Люди знают, что делают. Они не нуждаются в советах, — резко произнес Валерий.

«Так думают все люди?» — спросил осьминог. А через секунду:

«Мне можно войти?»

«Отстал бы ты от меня!» — подумал Валерий, но дверь открыл.

«Люди всегда вмешиваются в чужие дела так, будто это их собственные?» — войдя в помещение, спросил октопус.

— Что ты имеешь в виду?

«Второй пошел к моим братьям, а ты недоволен, когда я спрашиваю о нем. Он пошел, не ожидая, пока его позовут. Он не советовался ни со мной, ни с ними потому, что люди не нуждаются в советах? Так?»

— Но люди — это люди. Что бы ты ни думал о них, они остаются такими, какие есть. С этим надо считаться.

«И осьминоги — это осьминоги».

— Ты хочешь сказать, что с вами тоже надо считаться? Но мы так и делаем. Мы не причиняем вам вреда, а только изучаем, чтобы общаться...

«И мы вас только изучаем... А ты злишься... Почему?»

Валерий бросил взгляд на часы. У Евга осталось кислорода на тридцать пять минут! Что делать?

Отчетливо послышалось:

«Он не придет».

— Что с ним случилось? — закричал Валерий.

«Он не нуждался в совете. Осьминоги не враги людям, но у нас есть свои гайны. Мы не хотим, чтобы вы знали все. Иначе станете нашими врагами».

— Он жив?

«Не знаю. Может быть, еще жив. Может быть, нет. Он не придет».

Решение появилось само собой.

— Уйди! — приказал Валерий осьминогу.

«А что собираешься делать ты?»

— Это не твоё дело. Уходи в бассейн.

«Он тоже не послушался. Ты хочешь отпраздновать за ним? Ведь я согласен служить тебе. Вы любите это слово. Почему же...».

Валерий почувствовал давление и тяжесть в голове, но теперь мог справиться с ними, так как знал, откуда они исходят. Исчезла неизвестность, усугублявшая страх. Это было похоже на сеанс гипноза, когда испытуемый решил не поддаваться, и гипнотизер ничего не может с ним поделать.

«Стоит только понять причину явления, и ты становишься сильнее. Понимание причин дает силу», — подумал Валерий.

Спрут вспыхнул радугой красок и начал бегать, приобретая окраску стен.

«Ухожу...» — услышал Валерий.

Заперев за спрутом дверь на засов, он стал собираться в дорогу. «Не делай глупостей, — из-за двери убеждал его осьминог. — Не ходи без меня. Может случиться непоправимое». Валерий не отвечал. Надо было бы отправить послание Славе, — телефон снова не работал, — но времени уже не хватало даже на то, чтобы написать записку. У Евга оставалось кислорода на двадцать минут...

Первым заметил пропажу снабженец. Он побежал к начальнику охраны, и вдвоем они обыскали склад и двор хозяйства. Но контейнеров не было.

— А документ о доставке есть? — спросил перепуганный начальник охраны, как будто документ мог заменить контейнер.

— Да я же вам его показывал. Сам привез, проследил, чтобы правильно разгрузили, чтобы поставили на площадку транспортера...

— А где стоял контейнер с отходами?

— Там же. Его должны были через полчаса забрать.

— Может быть, уже забрали? И по ошибке — оба контейнера?

— Исключено. Я спрашивал и на складе, и у поставого.

Говоря это, снабженец с досадой подумал: «А я еще удивлялся, зачем здесь военизированная охрана. Ведь ЭУ-3, экспериментальная установка по опреснению морской воды, — объект сугубо гражданский. Правда, энергию ей дает атомная электростанция, но, во-первых, станция крохотная, а во-вторых, «слегка» устаревшая. Такие станции теперь ни для кого не секрет. И вот тебе на...».

Начальник охраны беспомощно развел руками. Последние искры надежды потухли. Надо было докладывать начальству.

Вскоре во дворе электростанции появились следователь с помощником. Им давал объяснения начальник ЭУ-3.

— Как видите, у нас двор закрытый, — говорил он. — Ограды нет лишь со стороны моря, но здесь скалистый берег обрывается почти отвесно. Да и кому могут понадобиться эти злосчастные контейнеры?

— Это уже второй вопрос. Не будем забывать вперед, — сказал следователь, невысокий человек в очках, назвавшийся Аркадием Филипповичем. Сквозь стекла очков смотрели близорукие добрые глаза. Им совершенно не соответствовал его голос, очень холодный, жесткий. Когда он говорил, иногда казалось, что слышно, как, сталкиваясь, звенят льдинки.

— Итак, в одном контейнере был обогащенный уран, во втором — радиоактивные отходы... Скажите, не было ли на территории посторонних?

— Только водитель грузовика, доставившего контейнер с топливом, — проговорил начальник объекта.

— Хорошо. На вашем объекте есть новые работники?

— Вас интересуют научные сотрудники или рабочие тоже?

— Все.

Начальник ЭУ-3 дал краткую характеристику нескольким сотрудникам. Об одном из них отзывался нелестно. Аркадий Филиппович слушал начальника объекта, но его взгляд скользил по ограде, постройкам...

— Сколько весит контейнер с отходами?

— Почти двести килограммов. Свинцовая прокладка все-таки...

— Машина к транспортеру может подъехать только с этой стороны?

— Совершенно верно.

«Остается одна версия», — подумал Аркадий Филиппович и тут же оборвал себя. Когда-то в молодости он любил делать преждевременные выводы и, естественно, платил за них множеством ошибок и неприятностей. Очевидно, именно поэтому теперь он слыл человеком, непримиримым к ранним и необоснованным версиям. Аркадий Филиппович сказал:

— Проходите к вам в кабинет. Покажете мне личные дела сотрудников. Охранники умеют обращаться со счетчиками Гейгера?

— Конечно, — ответил начальник объекта.

— Пусть они вместе с моим помощником проверят вон ту дорожку, ведущую к воротам, и... — он еще раз обвел взглядом восточную часть территории, где ограды не было и море начиналось словно бы от самого двора, — и это место...

— Хорошо, хорошо, — согласился начальник. — Но я бы предпочел вернуться к характеристике того товарища...

— Погодите с этим товарищем, — сказал Аркадий Филиппович.

— Но он на все способен...

— Вы сказали, что человек работает у вас третий месяц. Откуда же такие решительные выводы?

— Его сразу видно.

— Сразу ничего не видно, — проговорил Аркадий Филиппович, отвечая своим мыслям.

Военный катер, поднимая два сверкающих белых буруна, подошел к кораблю. Слава и Тукало вышли на палубу встречать гостей, о которых им сообщили по радио. Одним из них оказался Олег Жербицкий, вторым — незнакомый человек в клетчатом костюме. Олег представил его как Аркадия Филипповича, следователя. Аркадий Филиппович был чем-то похож на Тукало — то ли движениями, то ли мимикой лица, но отличался от него сухощавой фигурой. Слава с улыбкой наблюдал, как они знакомились.

— Пойдемте в каюту, надо поговорить, — сказал Жербицкий.

— Что-нибудь случилось? — спросил Слава, и Олег даже губами дернул, досада на его легкомыслие, а Аркадий Филиппович окинул руководителя экспедиции внимательным и неодобрительным взглядом.

Однако на Славу это не возымело никакого действия. Его мысли были заняты другим, и, как только гости и встречающие оказались в каюте, он снова задал тот же вопрос.

— Извините, — сказал Аркадий Филиппович, — но сначала ответьте на мои вопросы. Последние двое суток вы не заметили ничего подозрительного в бухте?

— У нас прервалась связь с «колоколом». Правда, не двое, а четверо суток тому назад. Я думал, что они пришлют записку в «торпеду», но...

— Больше ничего?

— С нас хватит и этого, — зло сказал Слава. — Если бы не ваша радиোগрамма, батискаф был бы сейчас у «колокола».

— У вашего батискафа есть противорадиационная защита?

— Нет.

— В таком случае вам придется отложить погружение.

— Это невозможно, — категорически сказал Слава. — В «колоколе» — мои товарищи.

«Эх, молод да зелен Вячеслав Борисович. Не научился распознавать, с кем и как следует говорить, — подумал Тукало не без удовольствия. — И такому поручают руководить экспедицией! Директор, видите ли, берет курс на выдвигание молодых...»

— Вы замеряли радиоактивность воды в бухте? — будто невзначай спросил Аркадий Филиппович.

— Замеряли. А что?

— Когда замеряли?

— Дней пять назад. В норме.

— А сейчас она в семь раз превышает норму.

— Да что вы? — испуганно воскликнул Никифор Арсентьевич.

— Почему? — спросил Слава.

— А вот это мы с вами и должны выяснить, — сказал Аркадий Филиппович. — Но предварительно я сообщу еще о некоторых событиях. С экспериментальной установки по опреснению морской воды исчезли два контейнера: один — с обогащенным ураном, второй — с отходами атомной электростанции. Следы повышенной радиоактивности привели нас к этой бухте. Здесь следы обрываются. Похоже, что оба контейнера находятся здесь, под водой, причем их стенки повреждены. Капитан третьего ранга Жербицкий сообщил мне еще об одном контейнере, обнаруженном вами и бесследно исчезнувшем...

— Выходит... — прошептал Слава.

— Еще ничего не выходит, — отрезал Аркадий Филиппович.

— Выходит, что надо немедленно идти за ними, — «закусил удила» Слава. Не глядя на Аркадия Филипповича и Жербицкого, он повернулся к Никифору Арсентьевичу: — Готовьте батискаф, погружение через полчаса. Пойду я один.

Тукало вынул изо рта сигарету и посмотрел на следователя взглядом, говорившим: «Видите, какой он!». Но Аркадий Филиппович почему-то не рассердился, придвинул пепельницу к Тукало, чтобы тот не уронил пепел на стол.

— Погружение в батискафе сейчас опасно.

— Пока я руководитель экспедиции, мои распоряжения здесь будут выполняться, — отчеканил Слава. Все же ему стало неловко за свою излишнюю резкость, и он пояснил: — Вы сказали, что опасность велика. А там, под водой, люди. Значит, у нас нет времени на споры.

— Вы не дослушали, — голос Аркадия Филипповича стал менее холодным, чем обычно. — Через полчаса здесь будет подводная лодка. Пойдете на ней. Капитан третьего ранга рассказал об аварийном механизме вашего «колокола». Он подойдет и для лодки.

Заслонку заклинило, и водолазам пришлось потратить немало усилий, прежде чем они открыли ее. Но тут, как назло, прорвалась струя воды, и сработала система блокировки. Пришлось преодолевать и этот барьер. Шлюз-камеру открывали больше часа. Наконец Слава и Жербицкий оказались в салоне «колокола». Все предметы здесь были на своих местах, как будто Валерий и Евг только что вышли. В первую очередь Слава заглянул в нишу, где помещались скафандры, и сказал:

— Один из них пошел в легком скафандре с семичасовым запасом кислорода...

— Но мы не знаем, когда они вышли, — откликнулся Олег, поняв направление мыслей товарища.

— Давайте осмотрим бассейн.

— Но ты же видишь, что дверь закрыта на засов. Там их нет.

— И все же заглянуть туда необходимо.

Они услышали шум за дверью, донеслось: «Откройте!».

Слава потянул засов влево, распахнул дверь в коридор, ведущий к бассейну, и отпрянул. В салон вкатился какой-то серый мешок. Послышалось пыхтенье, как будто заработал пылесос.

— Да это же осьминог! — воскликнул Слава и поспешил к бассейну.

Слышно было, как он бежал по пластмассовой дорожке, как открыл вторую дверь. Тем временем осьминог уверенно проковылял к пищевому синтезатору, открыл лючок и стал поедать зеленую массу. Жербицкий во все глаза наблюдал за ним.

Слава вернулся. Он был растерян и удивлен.

— В бассейне никого нет... Ты тоже слышал — вроде бы кто-то кричал?

— «Откройте!»?

Слава кивнул. На лице появилось выражение озабоченности.

— Но кто же это был?

Спрут перестал есть и выпучил глаза. Люди услышали:

«Я, осььмирукый».

— Это, кажется, он,— не веря своим ушам, сказал Жербицкий.

Слава отрицательно покачал головой:

— Осьминоги не могут разговаривать. У них нет органов для этого.

«Неправильно. У меня есть воронка».

Именно необычная ситуация вернула Славу самообладание, и он наконец-то сообразил, что надо обязательно найти лабораторный журнал — там должны быть записи об осьминоге. Он рылся в ящиках, думая: «Выходит, Валерка был все-таки прав. Но как же осьминог производит звуки? И чем он слышит? Кожей? Может быть, она преобразует звуки в иные колебания? Невероятно! Но это ведь неизвестный нам вид октопуса...»

Он перебирал содержимое ящиков, не находя того, что искал. «С такими мыслями прямая дорога в психиатричку... Надо стать примитивным, как дикарь. Если невероятное произошло, остается поверить в него. А там видно будет».

— У тебя есть имя? — спросил он у октопуса.

«Люди назвали меня Мудрецом».

— А где они сейчас?

«Ушли».

— Куда?

«Не знаю».

— Придется ждать, — сказал Слава Жербицкому. — По крайней мере теперь можно предположить, что это их обычный рабочий выход. Вот только журнала почему-то нет...

Они услышали вопрос осьминога:

«Вы хотите ждать, пока двое вернутся? Зачем?»

— Они поедут с нами.

«Я могу поехать с вами».

— Ну что ж, мы согласны взять и тебя.

«Чего же вы ждете?»

— Я сказал: наших товарищей.

«Зачем они были здесь?»

— Изучали море.

«Я знаю то, что они изучали, лучше их».

— Ого, да ты, оказывается, хвастун, — сказал Слава. — Но я верю тебе.

«Чего же вы ждете?»

Олег перестал прислушиваться к разговору. От затылка к вискам распространялось болезненное давление, оно мешало слушать, мешало думать. «Неужели облучился? Что угодно, только не это!» Олег однажды видел, как умирал человек от лучевой болезни...

— Нам пора в лодку, — сказал он дрогнувшим голосом.

— Да, пора, — согласился Слава. — Там пождем.

«Я останусь здесь?» — спросил осьминог.

— Да, пока останешься, — ответил Слава. — Ведь на подводной лодке нет аквариума для тебя. Если долго придется ждать, там тебе будет нелегко. А когда пойдем наверх, захватим и тебя.

В бортовом журнале подводной лодки появилась запись: «18.00. Дольше ждать бессмысленно. Начинаем всплытие. На борту — руководитель научной экспедиции гидробиологов. Во временной загородке грузового отсека находится дрессированный осьминог по кличке Мудрец...»

Сразу же по прибытии на борт «Академика Карчинского» Слава через Жербицкого вызвал отряд водолазов. Тем временем Тукало переоборудовал бассейн и поместил в него осьминога.

У Славы была слабая надежда, что осьминог подскажет ему, где искать Валерия и Косинчука. Не следовало упускать эту возможность, тем более, что подводная лодка еще не была готова ко вторичному погружению.

Слава начал разговор со спрутом, предварительно включив магнитофон.

— Мудрец, от твоих ответов зависит жизнь твоих учителей. Понимаешь?

«Да».

— Попытайся вспомнить, что они говорили перед тем, как уйти из «колокола». Они упоминали о том, куда идут?

«Нет».

— А о том, что будут делать? Может быть, один из них сказал: «Нужно осмотреть ущелье?»..

«Нет».

— Или так: «Отснимем рыб, крабов?»..

«Нет».

— «Заснимем участок дна?»

«Нет».

— О чем же они говорили?

«Об освоении мира».

— Мира или моря?

«Вы называете это морем, я — миром. Они говорили об освоении мира и о том, что осьминоги могут помочь людям».

— В чем?

«Разводить плантации водорослей и стеречь стада рыб. Строить для людей большие «колоколы» на дне. Охранять людей...»

— От кого?

«От других людей, которые придут на кораблях. Мы сможем прикреплять мины к кораблям».

— Ты знаешь, что такое мина?

«То, что приносит смерть».

«Каким образом он мог узнать о минах? — подумал Слава. — Неужели Евг и Валерий ему объяснили это?» Он услышал:

«Люди рассказали. Это очень интересно. Можно убивать не по одному, а сразу многих...»

Чтобы отвлечь октопуса от опасной темы, Слава спросил:

— А ты хочешь помогать людям?

«Да, да, да! Охранять их и ставить мины. Быть разведчиком и пастухом. Носить приборы. Говорить с людьми. Знать, чего они хотят. Делать то, что они хотят. Не советовать им. Люди не нуждаются в советах. Выполнять то, что прикажут...»

Аркадий Филиппович положил руку на плечо Славы, прося разрешения о чем-то спросить. Он столкнулся взглядом Славы как положительный ответ и спросил:

— Значит, ты, Мудрец, хочешь убивать людей? Почему? Ты не любишь их?

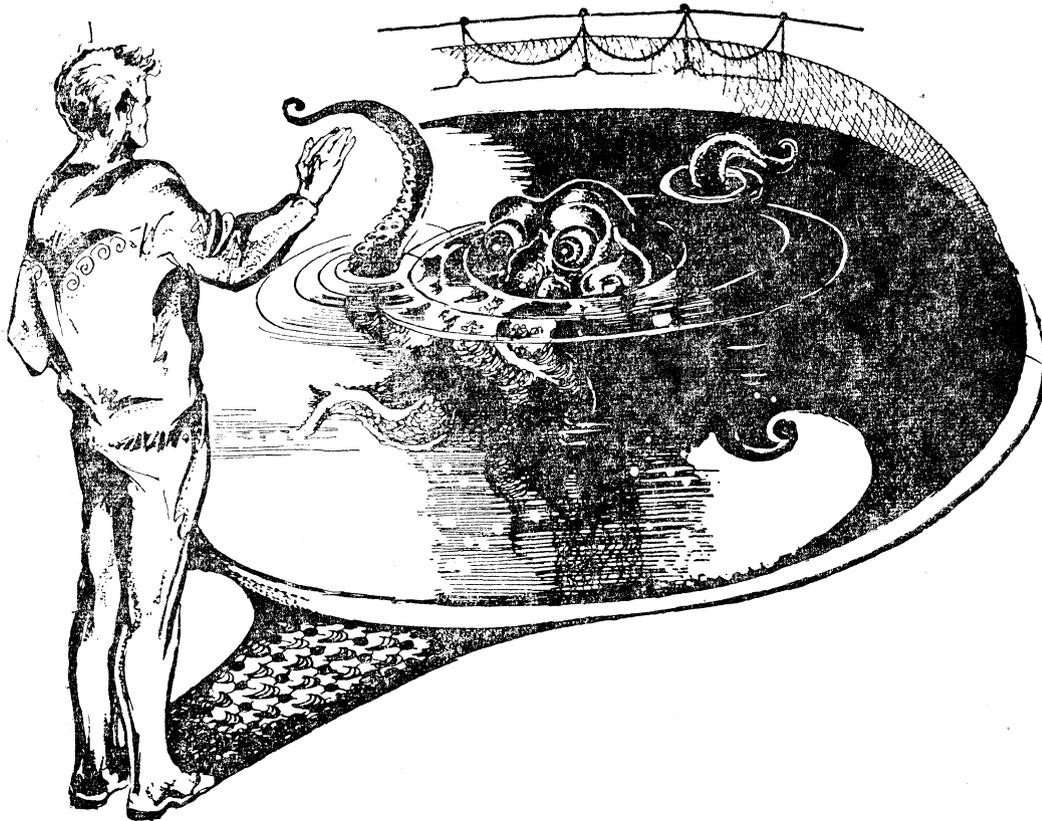
«Люблю. Сделаю то, что людям нужно».

Слава следил за осьминогом, наблюдал, как пульсирует воронка. Он недоумевал: «Как спрут разговаривает? Чем? Его мускулистая глотка с клювом не годится для этого. Допустим, он произносит слова с помощью воронки. Но тогда она хотя бы должна быть на поверхности, а не в воде...»

Он увидел, как осьминог приподнял воронку над водой. Спрут уставился на него, стал раздуваться, менять окраску. Слава почувствовал неприятное ощущение, услышал обрывки чужих мыслей: «Не думай об этом! Не могу... Вас слишком много здесь, двурукие!»

Спрут съежился и затих. Одновременно исчез «буравчик» в Славиной голове...

Щелкнул выключатель магнитофона. Слава



спрятал аппарат в чехол и быстро пошел в каюту. Невероятная догадка гнала его, заставляла почти бежать. Он захлопнул за собой дверь, повернул ключ. Торопливо включил магнитофон. Услышал шелест пленки в тех местах, где должна была звучать речь осьминога, и бросился на палубу, к бассейну.

Осьминог отвечал на вопрос Тукало, но тотчас повернулся к Славе, хотя тот не успел раскрыть рта.

«Мудрец, ты знаешь, где твои учителя? Где те двое?» — мысленно произнес Слава и услышал ответ:

«Не знаю. Уже говорил. Не знаю».

Люди удивленно смотрели на осьминога. Они не слышали Славиных вопросов и не могли понять, кому отвечает спрут.

«И все-таки ты знаешь. Даже если они не говорили, куда идут, то думали об этом. Ты не можешь не знать. Почему же не говоришь? Знают, ты не друг, а враг людей?»

«Друг,— ответил Мудрец.— Я не хочу причинять людям боль».

«Но если ты не скажешь, мы можем не успеть к твоим учителям. Там, где они находятся,— опасно».

«Вам незачем спешить. Я предупреждал их, но люди не нуждаются в советах...»

«Это тебе сказали они?»

«Да. И я ничего не мог поделать».

Слава почувствовал, как у него перехватило дыхание.

— Ты хочешь сказать, что их уже не спасти? Они погибли?

Все изумленно обернувшись к нему, настолько неожиданными показались им его слова.

«Да»,— ответил осьминог.

Слава отпрянул, побледнел, оперся о поручень.

— В таком случае скажи, где искать их трупы,— поправив сползающие очки, бесстрастным голосом произнес Аркадий Филиппович, стоявший рядом с Тукало.— Мы хотим видеть место их гибели.

«Зачем?»

— Так нужно. Люди всегда так поступают.

«Не знаю, где они погибли. Знаю, что их нет».

— А почему они погибли?

«Пошли не туда. Пошли без меня».

— Куда же все-таки они пошли?

«Не знаю».

Аркадий Филиппович умолк. Он понял, что осьминог почему-то не хочет сообщить о месте гибели людей, и допрос здесь не поможет. Нужно было обдумать сложившуюся ситуацию и найти верный ход.

Валерий плыл, держась за «торпеду». Когда увидел знакомый выступ скалы, память подсказала, что надо повернуть влево.

Показались коралловые скалы и гроты. Валерий бросил взгляд на фосфоресцирующий циферблат часов и ужаснулся: с момента, когда он

покинул «колокол», прошло пятнадцать минут. Если Евг еще жив, то через пять минут он захочется.

Показался темный вход в пещеру. Валерий услышал стрекотанье счетчика Гейгера. Это были именно те пещеры.

Валерий не думал сейчас об опасности. Он нырнул в крошечную тьму, услышал писк локатора и почувствовал удар о камни. Включил прожектор. Стенки пещеры переливались, сверкали. Он достиг заграждения из наваленных камней. Вверху виднелось отверстие, достаточное для того, чтобы человек в скафандре мог протиснуться. «Торпеду» он оставил на якоре, включив ультразвуковой маяк.

Как только Валерий миновал нагромождения камней, коридор стал иным: в стенах было меньше выступов, казалось, что они обработаны каким-то грубым орудием. Валерий приготовил патрубков от кислородного аппарата, чтобы сразу подключить его к скафандру Косинчука, если тот найдется. Не удержался, глянул на часы. Оставалось четыре минуты и... крохотная надежда на то, что он ошибся и в запасе есть еще несколько минут.

Валерий увеличил яркость прожектора до предела. Коридор уходил далеко, похожий на глотку длинношеего чудовища. Только теперь Валерий понял, как мало у него шансов спасти Енга. Где он застрял? В пещерах? Или по дороге к подводному дому? А может быть, его держат в плену осьминоги? Вспомнилось предостережение Мудреца. Возможно, следовало взять спрута с собой? Но ведь верить ему нельзя...

Коридор стал расширяться. Валерий увидел, что навстречу ему что-то плывет. Он остановился, приготовив пистолет-лазер, повел прожектором. Луч осветил скафандр...

Еще не веря себе, Валерий бросился к Косинчуку. Схватил его за плечи, повернул лицом к себе. Губы Енга изогнулись в улыбке. Но его руки висели, как плети. Валерий понял, что ошибся: Евг не мог плыть навстречу. Возможно, его медленно несло течением... Губы Енга улыбались, но Валерий уже знал, что Евг мертв...

Валерий заглянул через пластмассу в шлем Косинчука. Стрелка кислородного прибора на сигнальном щитке не дошла до красной черты. Значит, Евг не задохнулся. Он умер по другой причине. Его убили...

«Он видел то, чего не должен был видеть,— услышал Валерий чьи-то объяснения.— Пришлось сделать так, чтобы он не мог рассказать об этом другим людям. Мы не хотим, чтобы люди стали нашими врагами. Возвращайся! Если узнаешь то, что видел он, тебя ждет его участь».

«Нет, я не боюсь вас!» — мысленно ответил Валерий. Запомнив место, где остается тело Косинчука, он сжал лазер в правой руке и поплыл вперед.

«Возвращайся!»

«Нет!»

«Не говори «нет»,— услышал он испуганный голос в себе самом, зная, что этот голос принадлежит не ему.— Помни: «да»—это жизнь, «нет»—это отрицание жизни, смерть...»

Ощутимее становилось давление на мозг. Его хотели заставить повернуть обратно. Но он уже давно понял, что его мозгом могут командовать, лишь когда он не сопротивляется. А стоит ему мобилизовать волю — и воздействие теряет силу.

«Возвращайся!»

«Нет! И еще раз — нет!» — ответил он и неожиданно вспомнил две строчки стихов: «Жизнь начинается с отрицания смерти и утверждается, утверждая себя...»

«Это красивые слова — ничего больше. А жизнь — это ощущения, радость, возможность изведать новое...»

«Слова — это мысли. Чего бы мы стоили без наших слов? — подумал Валерий.— Может быть, мы и стоим столько, сколько стоят наши слова?»

Он оказался в большой пещере. Черная тень понеслась на него откуда-то сверху, он едва успел увернуться. Палец сам собой нажал на кнопку лазера, и тонкий, как игла, луч перечеркнул атаковавшего осьминога, разрезав его на две части.

«Каждого, кто нападет на меня, постигнет та же участь»,— угрожающе подумал он и услышал в ответ:

«Мы не желаем тебе зла. Но это наш дом. Уходи».

«Нет»,— сказал он.

«Подожди,— прозвучал просительный голос.— Выслушай меня».

Недалеке появился новый осьминог. Луч прожектора коснулся его, поймал, осветил. Что-то в нем показалось Валерию знакомым. А может быть, знакомыми были волны, которые он излучал.

«Кто ты?» — спросил Валерий и почти не удивился, услышав:

«Мудрец».

«Значит, тот...»

«Да, то был другой осьминог».

«Каким же образом он знал то, что успел узнать о нас ты? Вы общаетесь между собой мысленно?»

«Не совсем понимаю тебя. Но может быть, ты прав».

«Это ты убил дельфинов?»

«Я только исследовал дельфинку. Хотел извлечь из ее памяти то, что она знает о вас, о людях...»

«Ты держал их обоих под гипнозом и подавлял все время, как только появился в нашем подводном доме. Ты думал, что и на людей сможешь так воздействовать?»

Осьминог промолчал. А Валерий, не ожидая его ответа, спросил:

«Почему вы убили людей? Сначала двоих, потом — моего товарища, Косинчука. Ты же говорил, что любишь людей...»

«Люблю. Это правда. Мы не знали, что те, первые два, погибнут».

«Что вы сделали с ними? Из-за чего они погибли?»

«Мы исследовали при сильном воздействии их память, центры их мозга».

«Что хотел сделать со мной осьминог, которого я только что убил?»

«Не знаю».

«Он всегда отвечает «не знаю», когда не хочет отвечать»,— подумал Валерий, ничуть не опасаясь, что Мудрец знает его мысли. Произнес твердо:

«А теперь проводи меня. Я должен увидеть то, что видел мой товарищ».

«Но я говорил: ты погибнешь. Мы уничтожим тебя».

«Почему?»

«Сколько раз людям надо повторять одно и то же? Если бы твои собратья узнали о том, что

видел он, они стали бы нашими врагами. А это не нужно ни нам, ни людям. Мы не хотим ссориться с вами. Мы поможем вам разводиться водоросли и пасти рыб. Поможем бороться с другими людьми».

«Еще бы! — подумал Валерий. — Это как раз то, что вам нужно, что было бы вам на руку. На все ваши восемь рук. А теперь прочь с дороги, или я уничтожу тебя!»

«Но я предостерегал тебя. Люди не должны знать...»

«Люди должны знать все. Сначала знать, а затем уже становиться друзьями или врагами. Это закон всех разумных. Вы сами хотели применить его к нам. Сначала — з н а т ь».

Он включил двигатель, и Мудрец помчался перед ним, вырываясь из луча прожектора и исчезая во тьме...

Перед Славой и Аркадием Филипповичем лежали две карты бухты — надводной и подводной ее частей. Первая карта была довольно подробной, вторая — во многих местах контурной. Ее начал составлять Слава, теперь вносились дополнения и уточнения в соответствии с тем, что сообщали водолазы. Обе карты пересекали линии, нанесенные разноцветными карандашами, испещряли цифры. На первой было больше линий, на второй — цифр. И те и другие отражали распространение и степень повышения радиоактивности.

В дверь каюты постучали, и на пороге вырос командир группы водолазов.

— Посмотрите, — сказал он, показывая металлическую пластинку с цифрами и значками. — Это маркировка контейнера с обогащенным ураном.

— Где вы ее нашли? — спросил Аркадий Филиппович, придвигая карту.

— Вот в этом квадрате, — ответил командир. Его палец показывал на скрещение нескольких линий — двух красных и черной.

— Можно считать установленным, что украденные контейнеры находятся здесь, — сказал Слава.

— Предположительно, — уточнил Аркадий Филиппович. — Установим, когда найдем. А установленным является другой не менее важный факт: иностранных кораблей в эти дни в районе бухты не было. Значит, предположение о диверсии становится все более шатким. А других версий, которые могли бы с достаточной вероятностью объяснить пропажу, у нас нет...

Он произнес последние слова с вопросительной интонацией, показывавшей, что у него имеется своя версия.

— Давайте поговорим еще раз с осьминогом, — предложил Слава.

— Вы думаете... — блеснул стеклами очков следователь.

Оба хорошо понимали, о чем идет речь, хотя догадка казалась совершенно фантастичной. Но когда все версии отпадают одна за другой...

— Пошли, — сказал Аркадий Филиппович, складывая карты. — До того, как лодка будет готова к погружению, у нас остается не меньше получаса.

— Вы тоже хотите пойти с нами? — удивился Слава.

— Да.

Они вышли на палубу и направились к бас-

сейну, у которого дежурили два моряка. Осьминог уже выплывал навстречу, расправив бледно-розовую мантию. Слава попросил одного из дежурных поставить у самого бассейна тяжелый железный табурет. Затем мысленно обратился к спруту:

«Мудрец, ты можешь уместиться на этом табурете?»

«Могу. Зачем?»

«Попробуй», — не отвечая на вопрос осьминога, предложил Слава. Вряд ли октопус мог одновременно следить за мыслями нескольких людей, но уж главным собеседником он должен был интересоваться.

«Ляг ртом вверх, а щупальца свесь вниз», — попросил Слава, наблюдая, как моллюск легко взбирается на табурет.

«Так мне неудобно».

«Это будет продолжаться недолго», — успокоил его Слава, пристально глядя в огромные осьминожьих глаза. Он знал, что обычные октопусы хорошо поддаются гипнозу, знал об опытах голландского биолога Тан-Кота, испробовавшего на спрутах различные методы внушения. Сейчас Слава решил применить один из них. Может быть, удастся загипнотизировать и Мудреца...

Осьминог подобрал одно щупальце и обвил его вокруг ножки табурета.

«Опусти!» — приказал Слава, напрягая волю, стараясь думать лишь о том, что должно выполнить животное.

Осьминог неохотно повиновался. Нужно было как можно дольше удерживать октопуса в неудобном для него положении — это облегчало воздействие на его мозг.

«Слушай внимательно, слушай только меня и подчиняйся! Отвлекись от всего постороннего, забудь обо всем, что нас окружает. Нас в мире двое — я и ты... Подчиняйся».

Славе показалось, что воля спрута сломлена, и он спросил: «Тебе рассказывали, что значит для людей солнце?»

«Да. Помню».

«Как выглядит солнце осьминогов?»

Он почти не удивился, мысленно увидев знакомое изображение контейнера. Изображение было таким четким, что можно было различить латинские буквы на стенке.

— Так я и думал — мутация, — сказал Слава Аркадию Филипповичу. — Под воздействием радиации обычный вид осьминогов, возможно октопус Дофлейна, мутировал. Образовался новый вид с необычными способностями. Он может существовать лишь в условиях высокой радиоактивности. И спруты сами создают для себя условия...

Слава взглянул на спрута. Заметил дрожь, пробегающую по коже. Щупальцы стали скручиваться. Осьминог просыпался. Слава спросил:

— Куда вы унесли свое «солнце»? Где оно теперь находится?

«Это тайна. Великая тайна», — ответил октопус, и Слава поспешил задать новый вопрос, уже сомневаясь в успехе:

— Теперь у вас три солнца?

«Тайна! Тайна!» — твердил осьминог, сползая с табурета в бассейн.

— Наши товарищи проникли туда, где находятся «солнца»? И вы их убили?

Слава знал о том, что спруты способны выпрыгивать из воды. Но он не предполагал, что такой большой и тяжелый моллюск, как этот,

способен совершить настоящий полет. Ему казалось, будто черная ракета взвилась из бассейна в воздух. Она описала дугу в добрый десяток метров и шлепнулась в море...

Подводная лодка снова причалила к «колоколу». На этот раз моряки провели сложный маневр быстрее и с меньшим трудом.

Слава сумел донести Аркадию Филипповичу, что поиски следует начинать отсюда. Даже если они затратят час, чтобы тщательно обыскать все ящики и закоулки подводного дома, где может находиться лабораторный журнал, то в конечном счете сэкономят время.

Слава просматривал ящик за ящиком. Он нервничал, ему казалось, будто он что-то пропустил, и, теряя драгоценные минуты, Слава вторично просматривал те же ящики.

Аркадий Филиппович помогал ему в поисках, но действовал по-своему. Он внимательно осматривал салон, пытаясь представить, куда можно было положить журнал. Когда этот путь ничего не дал, следователь слегка изменил тактику. Теперь он пытался представить не место хранения журнала, а различные ситуации, возникающие в «колоколе», и действия людей, о которых знал по рассказам их товарищей. Ему пришла в голову мысль: «А если кто-то из них лег спать, а потом проснулся, и ему нужно было что-то записать...» Он еще не представил ситуацию полностью, а его взгляд уже уткнулся в прямоугольник откидной койки. Несколько неторопливых шагов — и он опустил койку. Из-под надувной подушки выглядывала полоска пластмассы. Аркадий Филиппович приподнял подушку и увидел лабораторный журнал.

— Вот, пожалуй, то, что мы ищем.

Слава кинулся к нему, закричал:

— Я же говорил, что найдем!

Он быстро перевернул несколько страниц, просматривая их почти на лету, и остановился на предпоследней записи, где Косинчук рассказывал о первом посещении пещер и о своем намерении отправиться туда вторично. Теперь Слава знал, где искать товарищей.

Подводная лодка отчалила от «колокола» и взяла курс к пещерам.

Слава сидел рядом с Аркадием Филипповичем, держа в руках лабораторный журнал. Многие стало ясным, он уже не мог напускной веселостью защититься от грустных мыслей. Он боялся вызывать в памяти лицо Валерия и думал: «Всякий раз, когда нарушается равновесие в неживой природе, что-то обязательно случается и в мире живых существ. Когда в воздух выбрасывается бензиновый перегар или дым химических комбинатов, а в воду рек и морей спускаются отходы предприятий, это не проходит бесследно для микробов или насекомых, для рыб или людей. Впрочем, «или» можно употребить лишь условно. «Или» означает лишь выбор начала — образование нового штампа микробов, вымирание вида насекомого, появление октопуса сапиенса. И как бы очередное «или» не оказалось трагическим, если когда-нибудь мы, сея зерна, не сможем предугадать всходов и по началу процесса не определим его будущее...»

Коридор то сужался, то расширялся. Казалось, что он пульсирует, как набухшая вена, ведущая прямо к чьему-то сердцу. Валерий заме-

тил по сторонам несколько площадок искусственного происхождения. В других условиях он осмотрел бы их подробнее, но сейчас было не до того. Мудрец исчез из поля видимости, и Валерий ждал любых сюрпризов. К тому же он постоянно чувствовал чужое пристальное внимание, попытки сломить его волю. Слово бы холодные щупальцы пытались заползти в его мозг, порваться в его памяти и найти там то, с помощью чего можно управлять Валерием, как автоматом. К счастью, эти «щупальцы» были недостаточно могучими: сильнее человеческой воли, когда она бездействовала, и — слабее ее, если она просыпалась и направлялась против них...

Валерий увидел еще одну площадку, на которой громоздился неуклюжий аппарат. В памяти нашлось что-то похожее на него, но что именно и как оно называется, Валерий вспомнить не мог. Впереди маячил вход в новую пещеру. Возле него, как страж, дежурил Мудрец. «С дороги!» — мысленно приказал Валерий. «Ты помнишь, что тебя ожидает?»

«Помню все. С дороги!»

«Ну что же, входи...»

Пол и стены огромной пещеры были словно выстелены серыми комочками, а посередине, как жертвенник, возвышался контейнер. Пещера была таких колоссальных размеров, что Валерий не мог увидеть, где она кончается. И всюду — с потолка, со стен — гроздьями свисали осьминоги, обмывая серые комочки струями из воронок.

«Да это же осьминожки яйца! Но сколько их? Миллионы? Миллиарды?» — ужаснулся Валерий. Он вспомнил, что подобные вспышки размножения случались и с обычными октопусами. В одной научной книге из судовой библиотеки он читал, что в 1900 году по неизвестной причине в Ла-Манше до такой степени расплодились осьминоги, что их необозримые армии съели в море все живое, они нападали даже на крупных рыб. У берегов Англии и северной Франции не стало ни рыбы, ни крабов, ни устриц. В конце концов осьминоги стали поедать друг друга, а затем большая часть их погибла от какой-то болезни, как считали некоторые ученые. Волны намывали на берег целые горы мертвых спрутов, крестьяне использовали их как удобрение... И еще два раза в интервалами в двадцать пять — тридцать лет в тех же местах повторялись такие же нашествия осьминожков.

Сколько же было их здесь, в пещере? Если предположить, что из каждого яйца вылупится октопус...

«Двух-трех таких потомств хватит, чтобы заполнить все реки, озера, моря и океаны, — подумал Валерий. — Впрочем, им не хватит и такого пространства...»

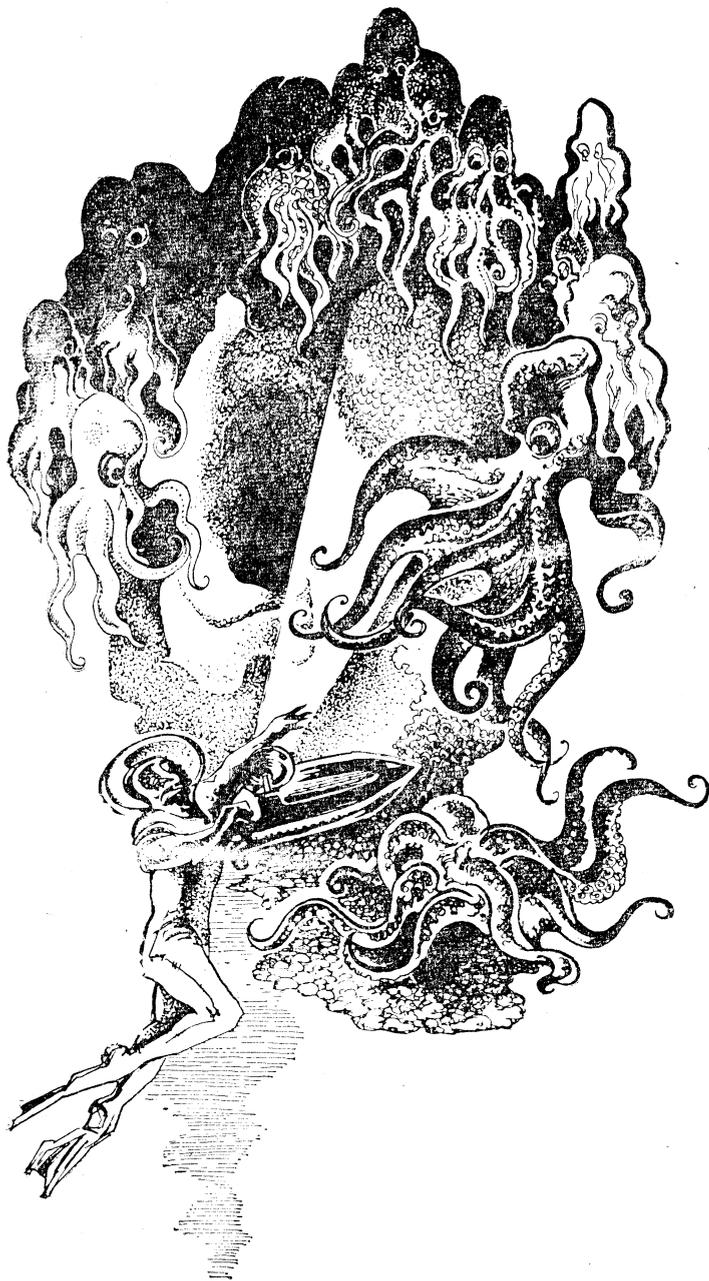
«Видишь, сколько помощников будет у людей!» — произнес чужой голос.

«И всем им понадобятся новые контейнеры?» — угрюмо спросил Валерий. — Мы произведем много контейнеров, но на всех вас не хватит».

«Вы произведете еще. Вы будете трудиться для нас, торговать с нами. Вы нам — контейнеры, мы вам — рыбу и водоросли.»

«Но что будет потом?» — думал Валерий. — Их станет слишком много...»

Валерий понял, что «потом» — не будет. Радиация возрастет настолько, что людей не



останется на планете. И внезапно он вспомнил, на что был похож аппарат, стоящий на площадке: на примитивный реактор! Значит, осьминоги пытались начать свою цивилизацию сразу с реактора...

«Ты ведь знаешь людей, Мудрец. И ты мог подумать, будто люди настолько глупы, что согласятся на такой путь?»

«Нет, хорошо знаю. Поэтому мы не хотим, чтобы вы узнали, с какой быстротой мы размножаемся и сколько живем. Слишком просто подсчитать дальнейшее. Но каждый из вас боится

смерти. Каждый хочет жить. И поэтому он выбирает не путь, а лишь начало пути, не зная, сможет ли вернуться назад. Это так же верно, как то, что ты не уйдешь отсюда живым».

«Ты плохо знаешь людей, Мудрец».

«Надеешься на аппарат в твоей руке, испускающий луч смерти? Но взгляни в сторону, посмотри вверх. Всюду — мои собратья. Куда ты отправишь луч, человек? Помнишь, с какой скоростью мы движемся?»

«Я не зря сказал тебе, Мудрец, что ты плохо знаешь людей. Человек боится смерти, но он может пересилить свой страх. Я направляю луч на контейнер. А тогда вы все погибнете. Или ты сомневаешься, что я сделаю это?»

Прошло несколько секунд. У Валерия кружилась голова, ему было все труднее преодолевать чужое воздействие. Оно стало морем вокруг него — крошечного островка. Но он еще сопротивлялся ударам волн, холодным щупальцам, враждебным мыслям.

«Может быть, я недостаточно понял людей, — удивленно проговорил спрут. — Не думал, что они способны преодолеть страх смерти. Но все равно ничто не изменится. Там, дальше, есть еще две пещеры с такими же контейнерами...»

«Кроме меня, есть еще люди. Они придут по моим следам».

«Мы сделаем так, что они не придут. Не найдут нас».

Мудрец побагровел, вытянул щупальцы, готовясь к атаке. Но в этот миг откуда-то ударил сильный свет, несколько прожекторных лучей осветили пещеру. Валерий оглянулся и увидел фигуры в скафандрах. Один из водолазов — в нем трудно было узнать Славу — направился к Мудрецу, протянул руку. Осьминог обвил ее щупальцами, раздулся, пытаясь прорвать пластмассу скафандра, добраться до кожи, чтобы умертвить человека сильным воздействием — парализовать дыхательные центры. Но пластмасса оказалась слишком крепкой. Второй рукой Слава ударил по глазам спрута, сжал его голову, и моллюск сморщился и затих.

Собратья Мудреца, готовые ринуться на людей, застыли на своих местах. Как видно, их парализовали панические сигналы из мозга Мудреца.

Водолазы уже начали привязывать трос

к контейнеру. Несколько из них направилось дальше, в другие пещеры. Вскоре они притащили еще два контейнера.

Слава захихнул мертвого осьминога в сетку и позвал Валерия. Цепочка людей в скафандрах двинулась в обратный путь, захватив с собой контейнеры и труп Мудреца...

Скафандр с телом Косинчука поместили в кормовой отсек.

Водолазы завалили входы в пещеры и залили их специальной быстротвердеющей массой. Для страховки в разных местах были оставлены контрольные автоматы. Затем подводная лодка направилась в обратный путь.

В центральном отсеке несколько человек собралось вокруг Валерия. Гибель товарища, обилие впечатлений потрясли его. Сейчас Валерий пытался сосредоточиться.

— Мне непонятно, почему воздействие на мозг становилось то сильнее, то слабее,— тихо сказал он.— Я думаю, что это зависело от того, сопротивлялся ли человек и было ли его сопротивление направленным, знал ли он, откуда грозит опасность. Но, может быть, Слава скажет что-нибудь поточнее, он ведь все-таки специалист.

— Вот именно — «все-таки»,— откликнулся Слава.— Это ты в самую точку. По «октопусу сапиенсу» пока специалистов нет. И неизвестно, будут ли. Кое-что мы узнаем, конечно, когда изучим пленки с осциллографов и регистраторов биотоков...

— А могли бы изучить осьминогов досконально,— задумчиво сказал Валерий.— Что теперь с ними будет?

В воображении людей появились замурованные пещеры, будто спруты снова пустили в ход пси-волны.

— Этого мы сами не решим,— проговорил

Аркадий Филиппович.— Соберется Президиум Академии...

— А пока многие из них погибнут,— сказал Жербицкий.— Может быть, все. Ведь радиоактивность будет быстро понижаться...

В голосе Аркадия Филипповича зазвенели льдинки:

— Другого выхода нет.

— Хотя они могли бы нам пригодиться...— продолжал свое Олег.

— Люди совершили бы роковую ошибку, вступив с ними в союз,— сказал Слава.— Дело ведь не только в том, что для существования этих спрутов нужна высокая радиация. Вспомните, с какой скоростью они размножаются...— На миг в его памяти возникли серые комочки, покрывшие стены, потолок, пол пещеры, и он продолжал:— А теперь представьте, какими опасными хищниками они явятся для других существ, которых смогут употреблять в пищу. Учтите, они вооружены лучше любых других животных. Восемь рук с присосками и когтями, хищный клюв и яд, реактивный «двигатель» и умение перелетать на десяток метров, запас воды для путешествия по суше, дымовая, а вернее, чернильная завеса. У них инфракрасное зрение и, наконец, способность телепатического воздействия, которую они могут усовершенствовать...

Голос Славы стал таким же холодным, как голос Аркадия Филипповича.

— Я лично за то, чтобы их уничтожить. Всех до одного.

— Думаете, их не осталось нигде, кроме пещер?— спросил Валерий, обращаясь ко всем, кто находился сейчас в отсеке.— Вспомните, сколько контейнеров с отходами брошено в глубины океанов, сколько зарыто...

— Будем надеяться, что в других местах этого не случится,— поспешно сказал Слава, но Валерий не согласился с ним:

— Надеяться мало...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

— И это называется документальной повестью?— возмущился Никифор Арсентьевич Тукало, поворачиваясь то к Славе, то к Валерию.— Да вы же всюду стусили краски, а некоторые события прямо-таки исказили. Но главная несуразица в том, что вы пытаетесь доказать, будто осьминоги угрожают человечеству.

— Меня неправильно поняли,— начал оправдываться Валерий.— Я ничего не хочу доказать, я только делаю допущения. Это же художественный прием, гиперболы. Если допустить, что наши октопусы размножились бы так интенсивно, как я показываю в повести...

— Если бы да кабы! Тогда бы и посмотрели,— сказал Никифор Арсентьевич.— А пока мы

не замуровывать их будем, а изучать, сохранять каждый экземпляр, как величайшую редкость, как феномен. Да и вообще...

— А вообще он правильно ставит проблему,— вступился за друга Слава.— Конечно, в повести много вымысла, особенно в конце. Здесь он дал, так сказать, полную свободу авторскому воображению.

— Авторскому!— фыркнул Никифор Арсентьевич.— Скажите лучше — безудержному. А как он меня обрисовал! Вот и получилась не документальная повесть, а какая-то фантастика...

— Погодите, это же мысль!— обрадованно воскликнул Слава и повернулся к Валерию.— Назови свою повесть фантастической.



ПОРАЖЕНИЕ

Фото В. Сисюка (г. Камышлов)

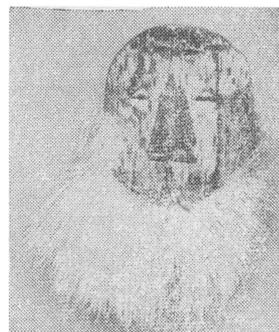
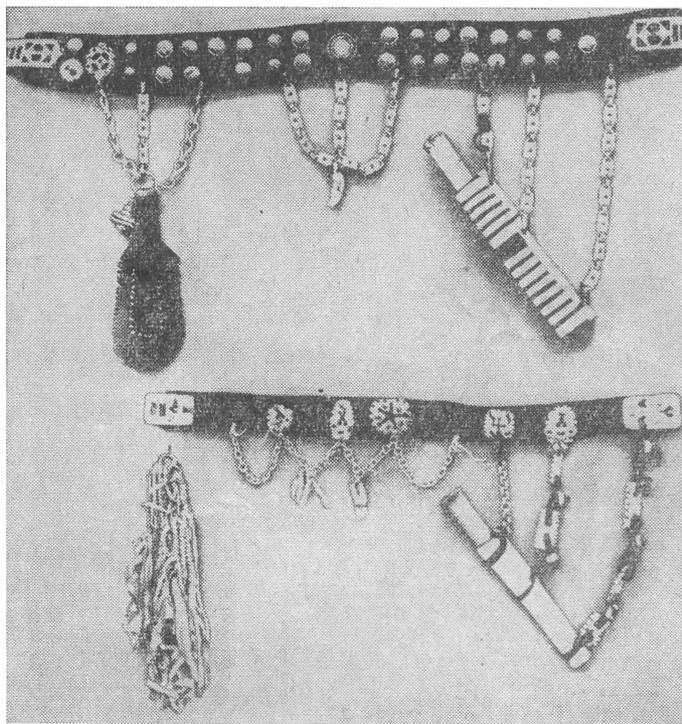


СЕВЕРНАЯ ПОЭМА

Иначе не назовешь экспозицию выставочного зала Воркутинского краеведческого музея, посвященную истории Коми АССР. Работники музея за несколько лет собрали художественные изделия, свидетельствующие о тонком вкусе народов, населяющих Советский Север. Здесь многочисленные поделки из шкур оленя, из кости моржа и мамонта, из бересты, дерева, ветвей ивняка. Неповторимы узоры бисера, изделия из овечьей шерсти.

Интересны ритуальные маски для праздничных представлений, предметы ушедшего в прошлое культа языческих богов.





На снимках: выставочный зал Воркутинского краеведческого музея; экспонаты выставки.



ЛЕСНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

Л. ФЕДОРОВ

Гости с Тянь-Шаня

Долгие годы работая в гидрометслужбе, я на-смотрелся на разные чудеса природы. Гало и лож-ные солнца в сильные морозы уже не в диковинку мне. Дважды мне посчастливилось наблюдать изумительный по красоте зеленый луч, посылае-мый солнцем, скатившимся за горизонт. Своими глазами я видел, как на степном башкирском аэродроме налетевший смерч поднял в воздух ко-рову, протащил ее метров пятьдесят и бросил на летную полосу.

Но то, что я увидел утром 15 марта 1939 года, поразило меня необычайно. Выпавший ночью снег был... розового цвета. Казалось, я попал на дру-гую планету, лишенную привычных земных красок.

Собрав с наблюдателем снег и растопив его, мы получили розовый осадок. По всему было вид-но, что это пылевидные частицы лесовидной поч-вы. Но откуда принес ветер на Урал эту пыль? По картам погоды того времени ответить на этот вопрос мы не смогли.

Прошло десять лет, и вот 7 февраля 1949 года в большинстве районов Урала снова выпал окра-шенный снег, только на этот раз желтого цвета.

Теперь в нашем распоряжении, помимо обыч-ных карт погоды, имелись и карты, дающие пред-ставление о воздушных потоках на очень боль-ших высотах. По ним мы определили путь цикло-на, принесшего к нам желтый снег. Траектория его началась где-то в Иране, ломаной линией пере-секла среднеазиатские республики и протянулась почти на две с половиной тысячи километров. Прохождение циклона сопровождалось сильными ветрами.

Растопив снег и получив осадок, я отправился с ним в Институт геологии. Заместитель директо-ра института Георгий Николаевич Папулов вни-мательно выслушал меня и охотно согласился сделать анализ желтого осадка. Через два дня получил результат и поразился: в составе осадка, помимо частиц почвы, была обнаружена пыльца растений южных склонов Тянь-Шаня! Какова же должна быть мощь циклона, чтоб вызванные им ветры смогли перенести пыль через высоченные горы и протащить ее на несколько тысяч кило-метров!

Высший класс горимости

64 Начальник охраны леса Николай Васильевич Алфимов был недоволен. Стоял август. Сухая и жаркая погода затянулась. В лесах жухла и преж-

девременно высыхала трава. Достаточно было маленькой искры, чтобы она воспламенилась, как порох. Лесные пожары возникали ежедневно. А тут еще я принес сводку ожидаемой пожарной опасности на ближайшие дни. Сводка была не-утешительной: предполагалось дальнейшее высы-хание почвенного покрова и наступление высшего класса горимости леса.

— Ты мне дождь дай! — укоризненно гудел Алфимов. — Леса горят, а ты опять красноту под-сунул! — он помахал сводкой, на которой схема-тическая карта области была закрашена угрожаю-щим красным цветом.

Урал — край необъятных лесных просторов. Но преобладание хвойных пород, лесозаготовки, подсочка и углежжение, охота и различные про-мысла создавали, да и сейчас создают опасность лесных пожаров. Поэтому борьба с «красным пе-тухом» приобрела на Урале важнейшее государ-ственное значение.

В 1929 году директор Свердловской геофизи-ческой обсерватории М. Ситнов провел исследо-вания условий возникновения пожаров и нашел связь загораний с дефицитом влажности. Он до-казал, что метеорологи, составляя прогнозы по-жарной опасности, могут помочь лесникам свое-временно принимать меры охраны, быть готовыми к тушению огня.

Исследования Ситнова были незаслуженно за-быты, и только в 1948 году Гидрометцентр СССР разработал метод предсказания условий горимости леса, в основу которого были взяты те же метео-рологические элементы, что и в исследовании М. Ситнова.

В Свердловском Бюро погоды составление та-ких прогнозов было поручено мне. Работа ока-залась интересной и увлекательной. Занятие фе-нологией помогло мне уточнить метод и сделать ряд практических выводов, с которыми я поде-лился на страницах журнала «Лесное хозяйство».

Николай Васильевич Алфимов вначале отнес-ся к прогнозам горимости скептически.

— Чепуха! — бросил он. — Бумажкой пожар не потушишь! Пока в лесах не наведем порядок, пока не возьмем лесозаготовителей в ежовые ру-кавцы, пожары будут продолжаться.

Его отношение к метеорологии в корне изме-нилось после того, как полеты патрульной авиа-ции стали проводиться в строгом соответствии с прогнозами горимости. И сразу Управление лес-ного хозяйства получило пятьдесят тысяч рублей экономии. С тех пор Алфимов стал горячим про-пагандистом метеослужбы, заставлял лесхозы и лесничества пользоваться рекомендациями синоп-тиков. И результаты сказались скоро: средняя площадь одного пожара резко снизилась, а это лучший показатель успешной борьбы с огнем.

Над зелеными квадратами

Я долго упрашивал Алфимова разрешить мне слетать на патрульном самолете.

— Не твое это дело. Сиди, вычисляй класс горимости! — ворчливо отвечал он.

— Надо же мне знать, как на практике используются мои прогнозы! — схитрил я.

Это убедило Николая Васильевича.

И вот я лечу. В кабине нас пятеро: старший летчик-наблюдатель Георгий Чубаров и три парашютиста. Под крылом самолета леса, расчерченные просеками на зеленые квадраты. Иногда видны поселки, сверкающие полоски рек и снова леса до самого горизонта, затянутого сухим маревом.

Мы летим долго. И вот немного в стороне над лесом появляется белый дымок. Пилот резко меняет курс, наносит на планшет место загорания. Над ближайшим кордоном он сбрасывает донесение с приметным красным вымпелом: пожар не велик, лесная охрана с огнем справится сама.

Становится прохладно, и я с завистью поглядываю на парашютистов, одетых в плотные синие комбинезоны. Они молчаливы и сосредоточены. Двое из них, Скрябин и Олюнин, — демобилизованные солдаты, отслужившие свой срок в десантных войсках. Между ними сидит девушка, Лиза Охаккина. Удивительный случай привел ее в лесную охрану.

Жила она в Сибири, на берегу Байкала. Каждый день над ее головой пролетал серебристый самолет. Однажды от него оторвалась маленькая фигурка, над которой забелел купол парашюта. Внезапно налетевший шквалистый ветер понес парашютиста в сторону озера. Не спуская с него глаз, Лиза побежала по берегу, и когда парашют накрыл упавшего в озеро человека, она уже плыла к нему на помощь.

Трудно было держаться в холодной воде, освободить тонущего от парашюта и добраться с ним до берега. Лиза доплыла, парашютист был спасен.

Тогда она и решила стать десантницей. Закончив специальные курсы, Лиза овладела опасной профессией, полной романтики, нелегкого труда и героизма...

— Ну, вот и для вас работа нашлась! — раздался голос Чубарова.

Из иллюминатора был виден густой темно-серый столб дыма, клубящийся над лесом. Место безлюдное. На десятки километров никакого жилья. Если дать волю огню, он натворит много бед.

Пока самолет кружил над пожаром, Чубаров выбирал место для высадки десанта.

— Лучше этого не найти! — показал он на маленькую полянку.

— Пятачок! Приземляться будет трудно. Может быть лучше прыгать на луг, что справа?

— Там болото, а не луг. Видишь, какая яркая зелень! Если не утонете, то увянете наверняка. Прыгать только на эту полянку. К пожару выйдете вон по той гривке. После того, как управитесь с огнем, выбирайтесь на кордон в семидесятом квартале. Туда за вами придет транспорт. Вопросы есть?

— Нет! Можно выполнять?

— Давайте!



Парашютисты поднялись. Проверив ремни и крепления, один за другим прыгнули парни. Последней, поправляя на ходу выбившуюся из-под шлема темную прядь волос, к двери направилась Лиза Охаккина. Спокойно, словно через порог дома, шагнула она в пустоту...

Проследив за приземлением людей, Чубаров сбросил на грузовом парашюте большой резиновый

баллон с хлористым кальцием. Теперь можно домой. Покачав крыльями, самолет ложится на обратный курс. А внизу отважная тройка, наполнив ранцевые опрыскиватели сброшенной жидкостью, заткнув за ремни острые топоры, пошла навстречу огню.

Операция «Совка»

— Кто это по-твоему? — Николай Васильевич вытряхнул из спичечной коробки бабочку. Была она средних размеров, серая, с темными полосками и пятнышками на крыльях.

— Сосновая совка! — определил я.

— Правильно! После огня, это наш враг номер один. Нынче в лесах на юге области начался сильный лет этой бабочки. Сейчас мы обследуем границы ее распространения, весной проведем опыление.

Опыление — вынужденная мера, к которой прибегают только тогда, когда от нашествия насекомых могут серьезно пострадать леса.

— В копеечку обойдется химобработка! — продолжал Алфимов. — Но дело не в деньгах. Вместе с совкой погибнет все живое — птицы и полезные насекомые, пострадают четвероногие обитатели лесов. В природе нет полезных и вредных существ, там все взаимосвязано и служит друг другу. В Пышминских борах это равновесие нарушено бесцельными рубками. Совку ничто не беспокоит, и для нее создались тепличные условия. Проведем мы весной опыление, но часть вредителей все равно сохранится и, не имея естественных врагов, на следующий год снова размножится обильно. Волей-неволей будем вынуждены травить ее снова и окончательно добьем полезных обитателей лесов. А потом на ослабленный лес нападут короеды, борьба с которыми одна — топор...

— Но имеются же и другие способы борьбы с совкой, помимо опыления. — возразил я.

— Есть, но они трудоемки и малоэффективны. Попробуй устроить ловчие ямы для гусениц или собрать их руками с площади в десять—двадцать тысяч гектар? Сизифов труд! Этого можно избежать, если вести в лесу правильное хозяйство, создавать условия для гнездования птиц, заботиться о таких насекомых, как муравьи и наездники.

Жизнь насекомых зависит от условий внешней среды — от погоды и наличия пищи. Пищи — хвои и листьев — в лесу всегда в избытке. Это, так

сказать, — постоянно действующий фактор. Перенным же фактором является погода. Зная, какой она будет, мы можем заранее судить об условиях размножения насекомых. Но для этого нужно знать время наступления фаз развития насекомых. Снова на помощь пришло мое увлечение фенологией. Всю зиму я обрабатывал свои фенологические дневники, прочел гору специальной литературы, консультировался с биологами Уральского университета и, наконец, составил энтомологический календарь лесных вредителей Урала.

В апреле 1950 года я составил первый прогноз на май. Из него было ясно, что предполагается вспышка деятельности непарного шелкопряда в Башкирии, а в Свердловской области из-за резкого похолодания сосновая совка погибнет.

Уговаривать Николая Васильевича повременить неделю с опылением не пришлось. Он решил рискнуть, уж если поверил в метеорологию. Только пробасил грозно:

— Ладно! Послушаемся тебя. Но смотри, коли соврешь, не только меня под выговор поставишь — всю Гидрометслужбу опозоришь!

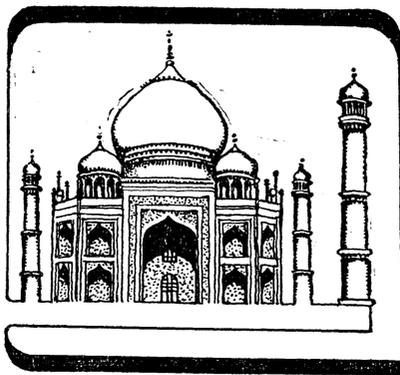
Стоит ли говорить, как я волновался в ожидании похолодания. Неужели ошибусь? Наконец, в первой декаде мая, когда гусеницы совки приступили к объеданию сосновой хвои, выпал снег и ударили сильные морозы. В лесах снег был буквально покрыт слоем замерзших гусениц — гибель совки была полной. Проводить опасное опыление не потребовалось.

Когда мой прогноз полностью оправдался, Николай Васильевич крепко пожал мне руку и, отцепив от форменного кителя медную эмблему — две перекрещенные дубовые веточки, подарил мне ее на память.

Башкирские лесоводы не поверили моему прогнозу — не провели опыления, и шелкопряд объел всю листву у березы и дуба на площади более трехсот тысяч гектаров.

Почти сорок лет посвятил я Гидрометслужбе. За это время многое пришлось узнать и пережить. Труд метеоролога, особенно синоптика, нелегкий. Как-то я подсчитал, сколько бессонных ночей провел на дежурстве. Получилась огромная цифра — три с половиной тысячи тревожных ночей!

Все было — радости и огорчения, забавные случаи и встречи с интересными людьми. Больше всего радости принесла мне лесная метеорология, которой я занимался десять лет. Каждый раз, когда я беру в руки подаренную мне эмблему с дубовыми веточками, я вспоминаю операцию «Совка», как в шутку назвал Николай Васильевич Алфимов борьбу с этим лесным вредителем.



Индийская мозаика

Л. ВИНОГРАДОВ

Рисунки В. Меринова

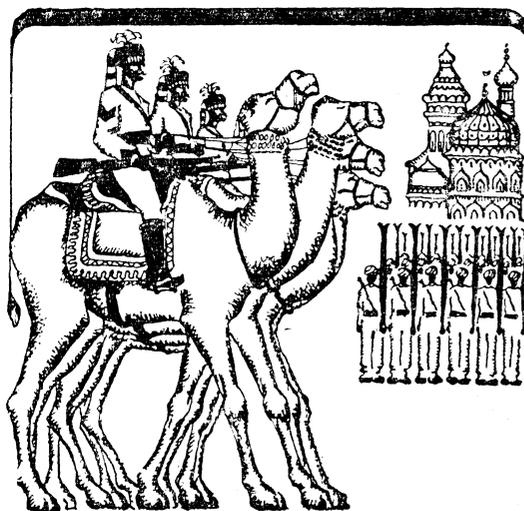
БЕРЕГИТЕ ХОЛОД!

Призывом беречь тепло и закрывать за собой дверь никого не удивишь на Урале. И вряд ли кто-нибудь станет здесь призывать к сбережению холода! На Урале или в средней полосе Российской Федерации это больше походило бы на шутку. Но именно такое обращение — «Берегите холод! Закрывайте двери!» — увидел я на дверях здания клуба советского посольства в Дели.

Летом в Индии очень жарко. Когда выходишь из дома и открываешь наружную дверь, то кажется, будто ты шагнул в парилку русской бани или распахнул дверцу хорошо прогретой духовки. Многие жилые дома и служебные помещения в столице Индии оборудованы системой кондиционирования воздуха. Холод в Индии действительно приходится беречь!

Таково назначение и многочисленных фонтанов, устроенных около здания посольства и в жилом городке. Сначала мне было непонятно — зачем их столько? Даже и подойти близко к некоторым нельзя. Поневоле приходили мысли об «архитектурных излишествах». Но, оказывается, фонтаны сделаны не для красоты, а для бесперебойной работы системы кондиционирования воздуха. В них при разбрызгивании охлаждается вода, которая, в свою очередь, охлаждает холодильные машины, понижающие температуру воздуха. Без таких систем жить летом в Дели очень тяжело!

Но просто сказать, что в Индии жар-



ко, — значит ничего не сказать о климате этой страны.

Ежегодно 26 января в Дели проводится военный парад в честь Дня Республики. На одном из таких парадов довелось побывать и мне. Это очень красочное зрелище.

Сначала перед трибунами проследовали с гордым видом «корабли пустыни» — неторопливые верблюды с восседавшими на горбах воинами в ярких мундирах. А через некоторое время прошли солдаты в белых комбинезонах с лыжами на плечах.

В Индии, протянувшейся от снежных Гималаев на севере до мыса Коморин на юге, климатических зон немало, природные условия многообразны, и поэтому в вооруженных силах страны есть и «верблюжья кавалерия» и лыжные батальоны.

ИЗГНАНИЕ СОБАК ИЗ СУНАБЕДЫ

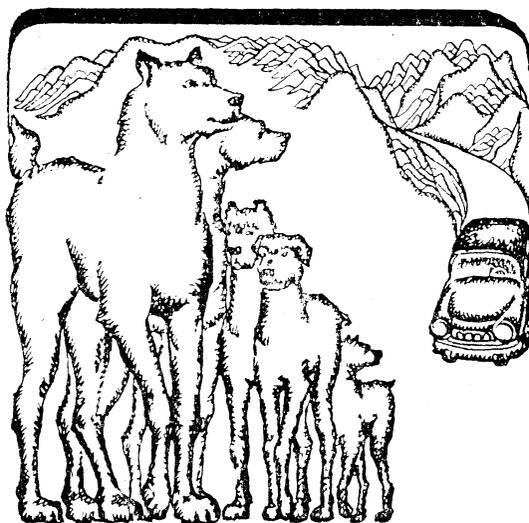
Однажды под вечер нам пришлось выехать на машине из города Висакхапатнама на восточном побережье Индии в местечко Сунабеда, где с помощью Советского Союза строилось одно предприятие. Дорога предстояла неблизкая.

По-южному быстро наступила ночь и за стеклами нашего «Амбассадора» стало совсем темно. Только изредка мелькали огоньки деревень, да непрерывно менялись, набегаая откуда-то из темноты, освещенные фарами придорожные картины. Через несколько часов равнина кончилась и мы стали подниматься в горы. Больших деревьев уже не было видно, склоны гор покрывал густой кустарник. Мы напряженно всматривались в мелькавшие перед нами темные заросли. Говорили, что в этих местах водятся леопарды, медведи, а иногда заходят и тигры. Но нам не везло и никто из порядочных зверей на дороге не встречался. Лишь изредка водитель резко выворачивал руль, когда перед машиной оказывался обалдевший от внезапного света дикий кролик.

До Сунабеды оставалось еще миль пятьдесят — шестьдесят, когда мы, наконец, увидели более крупных зверей. Это были... собаки. Сначала мы обогнали несколько десятков собак, неторопливо трусивших по обочине дороги. Затем в свете фар показалась еще одна группа, потом еще и еще. Собаки были тощие, с грязной светло-рыжей шерстью, но на диких не походили. Машина их совершенно не пугала.

Мы заинтересовались таким обилием собак в горах и спросили об этом у нашего переводчика мистера Кана. Но тот недоуменно пожал плечами. Наш водитель не понимал ни по-русски, ни по-английски, но по жестам догадался, о чем идет речь и стал что-то говорить на местном наречии. Мистер Кана выслушал его, рассмеялся и рассказал нам такую историю.

В Сунабедe за последнее время развелось очень много бездомных собак.



Большинство из них пришло с рабочими, которые строили завод. Индийцы потом ушли на другие стройки, а собаки, оставшиеся в Сунабедe, расплодились. Они воровали продукты, кусали детей, разносили заразу. И власти решили от них избавиться. Но как это сделать? Просто перестрелять или отравить собак нельзя. Ведь в Индии религия запрещает убивать животных! Правда, в Дели и некоторых других больших городах Индии бродячих собак уничтожают. Но даже среди культурного населения такие акции вызывают недовольство, и газеты призывают к более гуманным способам лишения собак жизни. А в глухих местах, как Сунабеда, подобная массовая экзекуция могла вызвать нешуточные волнения.

Долго ли, коротко ли обсуждалась проблема борьбы с собаками, трудно сказать. Но, в конце концов, было принято очень «мудрое» решение. Собак переловили и как раз утром в день нашей поездки вывезли на грузовиках в горы, где и выпустили на все четыре стороны. Расчет был таким: в незнакомых местах собаки заблудятся и их уничтожат дикие звери. А это уже не грех и не вызовет никаких волнений.

А мы были свидетелями того, что из всех предоставленных им четырех сторон собаки выбрали именно ту, которая вела обратно к Сунабедe.

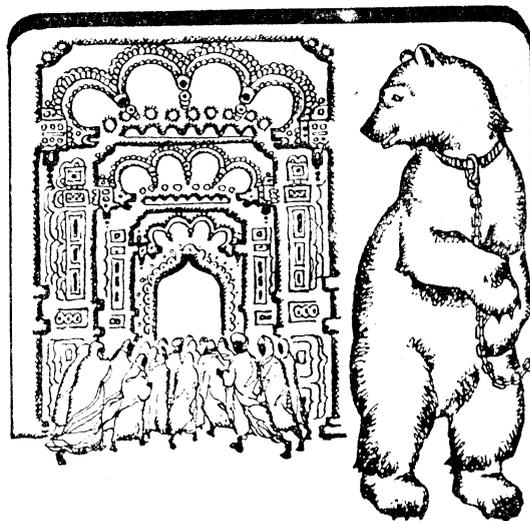
НЕДЕЛЯ ДИКОЙ ЖИЗНИ

В Индии проводилась «Неделя охраны природы», или, в буквальном переводе, — «Неделя дикой жизни». Все газеты и журналы всячески рекламировали ее. Известно, что звери газет не читают. Но все же и они «узнали» о проведении «дикой» недели и по-своему откликнулись на нее.

В зоопарке города Калькутты не первый год жил почтенный лев по кличке Шайтан, который вел себя по отношению к служителям вполне лояльно. Но вот именно на «Неделе дикой жизни» Шайтан решил напомнить людям, что он — царь зверей, а не просто большая кошка. Уборщик Мохаммед Амир, ничего не подозревая, вошел в клетку. Лев нахмурился и... набросился на Мохаммеда. Трагически закончилась эта встреча человека с царем зверей.

Надо сказать, что в Дели, как впрочем и в других индийских городах, много бродячих укротителей змей, дрессировщиков обезьян и медведей. Змеи плавно раскачиваются под звуки дудочки, медведи танцуют, обезьяны кувыркаются, а их владельцы собирают со зрителей деньги. За фотографирование со зверем полагается особая плата.

Так вот, один такой Мишка, которого



из-за кроткого нрава водили по улицам даже без намордника, тоже решил показать свое «я» в «Неделю дикой жизни». Он вырвал поводок из рук хозяина и двинулся в ближайший храм, полный молящихся индийцев. Через несколько мгновений храм был пуст. Но медведю этого показалось мало и он отправился в близлежащие дома, где тоже навел свой порядок. Видя, что все ему сходит, медведь, выбравшись на улицу, крепко цапнул подвернувшегося под лапу прохожего. Трудно сказать, что бы он еще натворил, но тут прибыл наряд полиции и разбушевавшегося Мишку усмирили.

Следопытские дела

ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПОВЕДНИК

Следопыты школы № 25 города Магнитогорска летом проводят экспедиции в Башкирский государственный заповедник. Каждый здесь находит себе работу по душе. Так, под руководством старшего научного сотрудника заповедника В. А. Сигарева наши ребята определяли тропы животных, искали рога лосей и маралов. Такие сведения нужны для то-

го, чтобы точнее определить места постоянного скопления зверей в различное время года.

С большим интересом следопыты вели наблюдения за жизнью ценных промысловых птиц, искали гнезда рябчиков, глухарей, тетеревов. Определяли диаметры каждого яйца, его вес; ширину и глубину гнезда. И вот что любопытно: оказывается, зная вес и размеры яй-

ца, можно точно сказать, когда появится птенец. Устанавливали ребята и чем питаются птицы. На основе собранных нами данных научные сотрудники заповедника давали советы охотоведческим хозяйствам, чем и в какое время подкармливать пернатых, когда начинать отстрел.

На XVII Челябинском областном слете туристов и краеведов отряд школы был отмечен призом «За самый интересный и содержательный поход».

Владимир НЕИЗВЕСТНЫЙ,
ученик 10-го класса



Продолжая публикацию материалов об истоках уральских рек, ждем сообщений следопытов — кто и какое участие решил принять в благоустройстве мест, где берут свое начало голубые артерии нашего края.

ТАК НАЧИНАЕТСЯ...

...ИСЕТЬ

Исеть — одна из самых больших и длинных рек восточного склона Урала. Начинаясь в его водораздельной части, она пересекает территорию Свердловской, Курганской, Тюменской областей и на семисотом километре своего пути соединяется с Тоболом.

Своеобразие географического положения Исети на границе горно-промышленного Урала и степного Зауралья наложило отпечаток на ее историю, которая уходит в далекое прошлое. Здесь на Исети обнаружена одна из старейших на Урале стоянок доисторического человека, на древнем пути из Европы в Азию возникли первые поселения и торговые центры — города: Далматово (1644 год), Шадринск (1662 год).

Два с половиной века назад русские первооткрыватели обнаружили на притоке Исети — речке Железянке (Каменке) железные руды, стали плавить чугун. В 1701 году Исеть перегородили плотиной и был построен первый на Урале Каменский железоделательный завод. А через несколько лет в верховьях Исети было начато строительство Уктусского, затем Верхне- и Нижне-Исетского и Екатеринбургского заводов.

Многочисленные плотины перегородили стремительный бег реки. Исеть стала своеобразной осью, на которую нанизан основной массив современного города. Пруды стали неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Свердловска, и по сей день обеспечивают регулирование стока и хозяйственное использование вод верхнего течения реки.

В отличие от других уральских рек, верхнее течение Исети — это несколько озер, соединенных между собой протоками. В 30—40 километрах к северу от Свердловска расположены два больших водоема — Исетское и Шитовское озера. Их соединяет протока, называемая Шитовский исток. А с южной окраины Исетского озера вытекает одна река — Исеть. Она рождается и набирает силу в двух озерах — Шитовском и Исетском, и, может быть, именно это обстоятельство послужило причиной разногласия — какое из озер считать истоком Исети.

В 1723 году, после завершения строительства Верхне-Исетского завода, в верховья Исети совершил поездку В. Н. Татищев, чтобы выбрать место для строительства еще одной плотины. Позднее ее соорудили в месте выхода Исети из Шитовского озера, которое и принято считать за начало реки.

Исеть начинает свой путь из озера Шитовского, с выхода из него Шитовского истока. Лесная речка прорезает густые девственные леса, разделяющие Шитовское и Исетское озера. Если подниматься вверх по Шитовскому истоку, то на 16-м километре пути неожиданно открывается широкий разлив озера Шитовского. Вытянутое с юго-запада на северо-восток, оно со всех сторон окружено лесами. Здесь близость гор не чувствуется так резко как на Исетском озере. Громады водораздельного хребта теснятся в отдалении, словно не решаясь приблизиться к берегу водоема. Леса окружают его, склоняясь к зеленоватым водам.

Пестрящие разнолесьем берега, плоские изумрудные зеленые острова, неглубокие заливы и живописные мысы создают своеобразную прелесть озера.

Шитовское озеро — мелководный водоем, его средняя глубина всего 1,2 метра. Малые глубины, а вследствие этого хорошая прогреваемость воды способствуют развитию обильной водной растительности. Зарастают осокой заливы озера, тихие плесы речек Бобровки, Хвощевки, небольшие болотные озерки и безымянные речушки, питающие Исеть.

Наиболее простой и короткий путь на Шитовский исток — через Тагильский тракт, который на пятидесятом километре от Свердловска и пересекает протоку. Здесь, кстати, сохранились остатки плотины, построенной уральскими плотинщиками мастерами около 250 лет назад для накопления воды в Шитовском озере.

Сложный комплекс гидротехнических сооружений на истоке и в верховьях Исети десятилетия служил горным заводам Екатеринбурга, и сегодня воды Шитовского и Исетского озер поступают для питьевого и промышленного водоснабжения Свердловска.

Шитовский исток — место примечательное и в природном, и в историческом, и в живописном отношениях. И наверно, именно здесь — в начале протоки следовало бы поставить памятный знак с надписью, свидетельствующей, что отсюда начинается Исеть — река-труженица, река-полицейка главного уральского города — Свердловска и других городов края.

Чтобы благоустроить исток Исети, надо расчистить протоку, вытекающую из озера, взять под охрану остатки старой плотины. Следует подумать о строительстве туристской базы на Шитовском истоке. Лучшего места, пожалуй, и не найти!

В планах дальнейшего развития Свердловска и его пригородной зоны намечено значительно

расширить масштабы использования Шитовского и Исетского озер в целях водоснабжения и туризма.

В будущем прямые стрелы автотрасс рассекут приисетские леса и выйдут к берегам озер. Комфортабельные пассажирские катера будут совершать прогулочные рейсы по Исетскому и Шитовскому озерам. Судходная трасса от истока Исети пройдет вниз по реке, дойдет до города Свердловска, разгрузит автобусный и железнодорожный транспорт, сделает Шитовское озеро более доступным для отдыхающих.

...ПЫШМА

Первые встречи всегда дороги и памяты. Это относится не только к людям, но и к рекам — голубым дорогам нашего края.

Вспоминается первая встреча с Пышмой, что состоялась, примерно, лет десять назад, когда по совету бывалых рыбаков я поехал за карасями на Ключевское озеро. Торная лесная тропка, идущая к северу от станции Шувакиш, через 10—12 километров вывела меня к берегу лесного озера. Небольшое, длиной примерно 150—200 метров, почти овальной формы, оно лежало в пестроцветной оправе заливных лугов. Воды его ласково голубели среди пологих и безлюдных берегов. С тихим шелестом переговаривались гальники, певуче поскрипывали камышинки. И словно вторя им, где-то призывно покрякивали утки. Изредка всплеснет рыба да зашуршит набежавшая на берег легкая волна, и снова тихо и спокойно на озерном песке, в заросших карасевых заводях. Казалось, нет места более уютного, чем это маленькое лесное чудо — озеро Ключевское.

За пару часов я почти полностью обошел вокруг него, но в конце пути тропинка неожиданно взбежала на небольшой лесистый мысок, и тогда сквозь просветы между стволов высоких сосен стала полностью видна изумрудная гладь озера, поросшие камышом и рогозом заливы, узкие песчаные пляжи и пестреющая разнолесьем равнина, уходящая в сторону Шувакиша.

У подножья крутого бережка, куда я поднялся, выбивались бесчисленные ключи. Они немолчно звенели. Их холодные светлые струи падали в озеро и тянулись к узкой протоке, вытекающей из него. Там начиналась река Пышма.

Извилистым ручейком начинает Пышма свой путь. Тихая, медлительная, она спокойно течет среди низких заболоченных берегов, плотно укутанных зарослями ивняка и высокими травами. Ниже по течению Пышма превратится в большую полноводную реку, которая даст воду многочисленным городам и селам, густо заселившим ее берега, приведет в действие мельничные жернова и понесет плоты, образует огромное водохранилище первой на Урале Белоярской атомной электростанции. Более 600 километров пройдет Пышма до слияния с Турой, немало добрых дел сделает она для людей.

Рождается Пышма в озере, а силу получает

от притоков. Первые километры — первые малые и большие притоки. Их очень много, и каждый чем-то интересен. Вот речка Камышенка, пробивающая свой путь через Шувакишское и Калиновское болота, она хорошо известна охотникам, ягодникам и грибникам. В тальниковых зарослях Камышенки и прилегающих болотах гнездятся утки, на многочисленных взгорках поздней осенью красно от приспевающей клюквы, в лесах обилие грибов. Есть на этой речке очень примечательное место — остатки одной из самых первых уральских плотин. Построенная более 200 лет назад при Шувакишском железодобывательном заводе, она была первым гидротехническим сооружением в верховьях Пышмы.

Калиновка и Березовка — тоже интересные притоки верховий Пышмы. Здесь в 1814 году горный мастер Л. И. Брусицин открыл первое в России россыпное золото. Слава о «пышминских золотых песках» разнеслась за пределы Урала, золотая лихорадка охватила Екатеринбургский горный округ. Появились присики на Пышме, Калиновке, Березовке, Шиловке, были построены Пышминская, Александровская, Ключевская золотопромышленные фабрики. Уральские мастера создали в верховьях Пышмы уникальные гидротехнические сооружения (Александровский ров, подземную водопроводящую галерею), что обеспечило переброску воды из бассейна реки Исети и озера Шарташ в Пышму. Многие из сооружений сохранились до настоящего времени. Следовало бы обстоятельно изучить эти замечательные памятники инженерного искусства, истории золотодобычи и горного дела на Урале. Изучить и сохранить для потомков.

Верхняя Пышма — лесной край. Вдоль берегов реки и ее многочисленных притоков — Балтымки, Становлянки, Сарапулки и других — протянулись густые сосновые леса. Припышминские боры, в которых до 70 и более процентов составляет сосна, — явление редкостное и удивительное. Такие леса встречаются только на Урале и только в одном месте — на реке Пышме.

Издавна служит человеку Пышма, щедро дарит она свои богатства. Но не всегда человек бережно использует их, не во всем проявляет себя рачительным хозяином. За последние годы в некоторых местах верховья реки потеряли свой прежний лирический облик. Дразные выработки изменили русло реки, замутили ее кристально чистые воды. Вырубка лесов и дренажные работы заставили обмелеть Пышму и ее притоки. Понизился уровень озера Шувакиш, и прекрасный водоем, прежде богатый рыбой, стал быстро зарастать. Высохла протока, некогда соединявшая озеро с рекой Пышмой, уменьшился ее сток.

Под угрозой гибели находится и исток Пышмы — озеро Ключевское. Все туже затягивает его жесткий пояс болотных трав и камышей, все сильнее мелеет озеро. Нужны срочные меры по расчистке ключей, питающих озеро, которое дает жизнь истоку Пышмы.

Хочется верить, что со временем верховья Пышмы и ее многочисленные притоки будут благоустроены и войдут в состав Среднеуральского природного парка.

В. ГОЛОВКО



Доморощенные карпы

Челябинский инженер Анатолий Федорович возвращался из командировки. Легковой газик, весело разбрызгивая весенние лужи, то обгонял грузовики, то на полном ходу прижимался к обочине, пропуская встречные «кировцы» с огромными прицепами.

В рамке лобового стекла, как на экране телевизора, стремительно мелькали кадры весенних пейзажей. Бескрайне распаханулась обнаженная пашня. По ней бегут навстречу газике березовые колки, скирды соломы, животноводческие фермы. Кое-где еще лежит снег. Но этот черно-белый контраст, всегда неприятный взгляду, смягчается матовой дымкой испарений, синевой неба, нежными солнечными бликами.

— Что, Геннадий, к обеду будем до-

ма? — благодушно спрашивает Анатолий Федорович.

Командировка прошла удачно, настроение отличное.

— Добежим! — откликается шофер и вдруг, кивнув на боковое стекло, добавляет: — Утонул что ли кто?

— Давай подьдем...

Газик круто сворачивает на проселок. Впереди небольшой пруд. На берегу толпится кучка людей. Бегают взад-вперед мальчишки. За прудом видны какие-то строения, а за ними снова блестят полоски воды. Шофер и Анатолий Федорович пробираются на песчаную косу.

По всему берегу валяются дохлые карпы. Шумно кружится воронье. Омытые волнами рыбины золотисто поблескивают под ярким солнцем, и от этого увиденное воспринимается еще горше. Все ясно, но почему-то вязнут в ушах обрывки разговора людей на берегу:

— Колхозу, конечно, убыток...

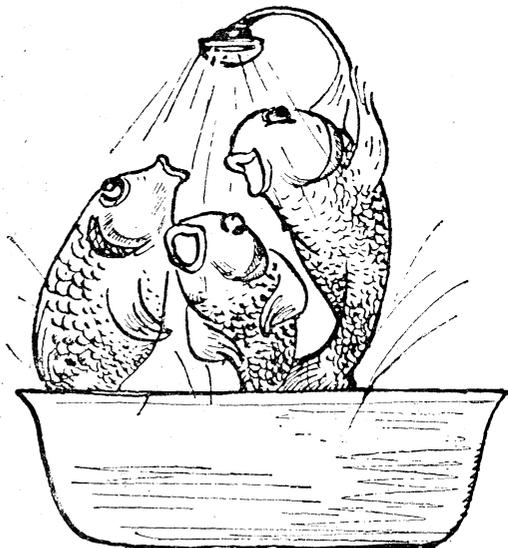
— Промерз пруд до дна...

Шофер ходит по берегу, отбрасывает носком сапога дохлую рыбу подальше от воды.

— Ты что? — спрашивает Анатолий Федорович.

— Полный замор, — отвечает Геннадий. — Мальки вон сами из воды лезут... дышать нечем.

В узкой канавке медленно двигаются золотистые мальки, величиной с половину карандаша. Анатолий Федорович садится на корточки, пристально рассматривает рыбешек. Опускает в воду руку и чувствует, как доверчиво тычутся в ладонь скользкие живые тельца. Может быть, ему это только кажется, что доверчиво, но, поддев пригоршню воды, он видит в ладони двух мальков.



— Геннадий! — зовет он. — Нет ли у тебя банки в машине?

— Есть, — отзывается шофер, — электролит подливаю...

И снова бежит газик по весеннему шоссе. Но пейзажи больше не занимают ни шофера, ни пассажира. Инженер придерживает между ногами банку с мальками, а водитель не отрывает взгляда от дороги — предупреждает о рытвинах и ухабах. Тогда банка подхватывается покрепче и поднимается повыше. Долго на весу ее не удержишь — немеют пальцы.

«Как учитель с наглядным пособием, — думает шофер, искоса поглядывая на белокурого спутника. — Молодой еще, лет тридцать пять, наверно...» Водитель вспомнил, как энергично и красочно рассказывал его спутник о тайге, где вырос на глазах у природы, и решил: нет, не чудачество это у него...

Дома, конечно, не ждали такого «подарка».

— Карпов — в ванну? — удивилась жена.

А дочь захлопала в ладоши:

— Ой, какие красивые, папа, а где ты их взял, а что они едят?

Поселили мальков в ванне. Долго смотрели, как чутко подрагивают маленькие рыбки тельца от едва заметных движений плавников. Покрошили в воду хлеба. Но мальки вроде бы и не заметили крошек, наверное, привыкали к новому пруду с ослепительно сияющими берегами. Анатолий Федорович объяснил домоладцам, что рыб надо кормить только свежим белым хлебом, в одни и те же часы и понемножку, чтобы не закисло остаток, не портили воду. А прежде чем ее менять, надо отстаивать два-три дня в ведрах хлорку и другие примеси...

— Сложная технология, — скептически заметила жена. — Может, отдадим соседям? У них аквариум...

— Что ты, мамочка! — заволновалась дочь. — Я сама их буду кормить!

Мальки получили право на жительство.

Интересно было наблюдать за окрепшими рыбешками. Они то целыми днями резвились в воде, то замирали и стояли почти неподвижно, то копошились на дне ванны. Первое время не удавалось подсмотреть, как они едят. Даже убегали сначала от хлебных крошек, а потом осмелели: только увидят руку с хлебом — ширк со дна и почти выпрыгивают из воды.

Карпы росли быстро. К некоторым неудобствам, связанным с жизнью найденышей, домоладцы быстро привыкли. Уже в четверг надо было готовиться к банной субботе. Заполнялись водой наличные ведра. В отстоявшуюся воду в субботу пересаживали карпов, чтобы освободить ванну. А в воскресенье карпов снова запускали в импровизированный прудок.

— Удивительная рыба, — рассказывал мне Анатолий Федорович. — Неприхотливая, выносливая, растет прямо на глазах...

К середине лета мальки стали в два раза больше, еще ярче заблестали на их плотных боках крупные золотистые чешуйки. Рыбы привыкли к человеку. Стоило опустить в воду руку, как они тотчас подплывали к ней и доверчиво тыкались нежными мордочками.

Но, как говорят, нет худа без добра — и наоборот.

Однажды покормили рыб черствым хлебом, и, видимо, отравились они. Повернулись как-то на бок, лежат. Анатолий Федорович пришел со службы и ахнул.

Весь вечер провозился он с рыбками. Осторожно массировал их, несколько раз прополаскивал им жабры свежей колодезной водой. Жена с дочкой переживали — так привыкли к своим питомцам. Помогали «главному врачу». И ожили ведь карпы.

Этот случай помог определить их судьбу. Решили выпустить рыбешек в озеро. Но время шло, а хозяин не решался с ними расстаться. Все откладывал «на следующую командировку». Но как-то поехал в первых числах ноября в район и увидел возле берега облюбованного озера ледяные закраины.

— Знаешь, Геннадий, давай вернемся...

— Плохая примета, — проворчал шофер.

— Карпов надо выпустить в озеро, пусть живут на воле...

— Карпов? — заулыбался шофер. — Неужели выжили мальки?

— Выжили, Гена, выжили!

Через полчаса легковой газик свернул с шоссе на пустующий берег. Анатолий Федорович с ведром и Геннадий с молотком в руках подошли к ледяному припаю. Шофер разбил лед, и доморощенные карпы, блеснув позолотой чешуи, скрылись в темной воде...

Бобер-путешественник

Как-то весной мне позвонили из охотничьей инспекции:

— Поедешь бобра выручать?

— Станный вопрос!

Зверя нашли под кучей валежника на берегу Шершневого водохранилища вездесущие ребяташки. Надо было им оставить бобра в покое. Может быть, где-то обмелел водоем, обнажился вход в бобровую хатку, и переселенец добрался в одну из ночей до этого места. Он, вероятно, долго плавал вдоль берегов, высматривая на них заросли осинника, вблизи которых можно было бы построить новый дом. К рассвету устал и решил отдохнуть под кучей веток.

Об этом, к сожалению, дети не подумали. Не знали, наверное, что этот приземистый волсатый зверь, напоминающий коротконогую собаку, ведет полуводный образ жизни. Предпочитает работать и питаться по ночам, а днем отдыхает в сухих и опрятных норах, попасть в которые можно только из-под воды.

Мальчишки растащили хворост, под которым спрятался бобер, и забросали его камнями. По счастью, мимо проходил начальник здешней водоспасательной

станции. Он посоветил ребят, умело поймал зверя и унес его с собой.

В тот день работник охотинспекции Козиков, как только сообщили ему о случившемся, сразу отправился на Шершневское водохранилище. Осмотрел зверя, принес ему охапку осиновых побегов, поставил воды в банке.

И вот мы едем в милицейском автобусе на выручку бобра...

На водоспасательной станции важному пришельцу отвели целую комнату. Приехали, видим, он безмятежно спит в темном углу. На полу белеют словно отполированные ветки осинника — так чисто обглоданы. Есть и другие признаки сытного обеда. Выходит, здоров бобер, колья ест. Впрочем, это не всегда бывает так. Оказывается, зверь должен каждый день грызть деревья. Зубы у него растут с фантастической быстротой, и он их стачивает о древесину.

Нашли продолговатый ящик, набили его сеном, установили в автобусе. Козиков ловко поднял зверя за «плечи» и водворил на мягкую подстилку. Мне доверили наблюдать за найденным, и мы тронулись в путь. Долго разглядывал я мас-

КУЗЬМА И КОСМЕТИКА



Близорукий. Буйвол. Как образовались эти слова? А что легло в основу имени собственного **Владимир**? Почему волшебный меч в русских сказках назвали **кладенцом**, а сказочное заморское царство — **задонским**? И почему русских партизан, громивших французских завоевателей в 1812 году, звали **кирилловцами**?

Казалось бы, ответы напрашиваются сами собой. **Близорукий**, наверно, потому, что видит только то, что находится близко от рук; **буйвол** — зна-

чит **буйный вол**. **Владимир**, вероятно, возник из словосочетания **владеть миром**. Ну а так как волшебный меч **кладет** насмерть нечистую силу, то, скажете вы, и назвали меч **кладенцом**. Царство же **Задонское** потому, что за **Доном** находится. А с партизанами, может быть, и совсем просто? Видно, был у них командир по имени **Кирилл**?

Не правда ли, с какой легкостью найдены ответы?

Но заглянем поглубже в историю названных слов.

сивного зверя, гладил его темно-бурую шерсть с редким в это время светлым подшерстком. Словно догадавшись, что его с интересом рассматривают, бобер неуклюже поворачивался в ящике. Выставлял напоказ то пятипалые передние лапы, то задние, пальцы на которых у него соединены перепонками. Глаза мне так и не удалось как следует разглядеть: они скрыты густой шерстью, отчего зверь кажется подслеповатым. Зато ушки обозначены четко — два крохотных неподвижных треугольника.

Пока ехали по асфальту, бобер несколько раз пытался выбраться из ящика. Однако мне удавалось каждый раз затолкнуть его обратно. А когда запрыгал автобус по ухабам, я, посоветовавшись с инспекторами, махнул на зверя рукой. Устраивайся, мол, сам, как хочешь.

Не встречая сопротивления, бобер тяжело выбрался из ящика, чуть приподнял голову, внюхиваясь в незнако-



мые запахи. Почему-то заинтересовался дверной ручкой. Опираясь на чешуйчатый, как у рыбы, хвост и задние лапы

Первая часть слова **близорукий**, действительно, связана со словом **близкий**, а вторая — со словом **зорок**. Первоначально было **близозорок**. А **буйвол** ничего не имеет общего с **буйный** и **вол**. Но почему же **зорок** превратилось в **руку**, а **буйвол** так похоже на известные нам слова? Виновата в этом народная этимология.

В русском языке этимология — изучение происхождения слов. **Народная** этимология — это сближение слова с каким-то другим по случайному звуковому сходству, переосмысление каких-то малоизвестных слов по звуковому подобию.

В народной речи первоначально звучало **близозорок**

(из **близкий** и **зоркий**). Но по звуковому закону язык стремится освободиться от повторяющихся звукоочетаний, поэтому одно **зо** исчезло. Получилось **близорок**. Ну а **рок** похоже **рука**, **рук**, так появилось слово **близорукий**.

А **буйвол** — результат переосмысления латинского **бувалус** — **бык**. По народной этимологии малоизвестное иноязычное слово сближилось по случайному звуковому сходству со словами **буйный** и **вол**.

В старославянском языке было **Владимер**, а не **Владимир**. Первая часть этого имени связана со старославянским **владь** — **власть**, **владеть**, а вторая — родственна готскому мерс — **великий**. Впослед-

ствии мер перешло в русское **мир** — весь мир, народ, согласие. Таким образом, **Владимир** — великий в своей власти, а не владеющий миром.

А труднопроизносимое болгарское название меча **кгляденция** пришло к нам вместе с повестью о Бове Королевиче и было сближено со словом **кладу**. Отсюда и **кладенец**. В повести о Бове Королевиче есть **задонский** король, и **задонский** салтан, и **Задонское** царство. Оказывается, в итальянском языке это царство называлось **Сидония** — земля Сидона. Она-то и была переосмыслена в **Задонии**. И несмотря на то, что царство заморское, оно стало именоваться **Задонским**.

поднялся, дотянулся до блестящего металла. Осторожно попробовал его своими острыми резцами, пофыркал, опустился на все четыре лапы и начал шарить по углам автобуса. В одном месте напустил лужу и тут же удалился от нее.

Пока ехали — а до Харлушинского заказника от Челябинска тридцать километров — разговаривали, вполне естественно, о бобрах. Расплодилось они на Южном Урале. В области сейчас два заказника, где под наблюдением егерей и охотоведов восстанавливается бобровое стадо. Один из них находится на озере Аргази, а в ближний мы везли беглеца. Специалисты решили, что наш бобр поднялся к Челябинску по реке Миасс от села Харлуши. Впрочем, путешествуют звери нередко и, бывает, довольно забавно. Недавно один бобр забрел из Ильменского заповедника в город Миасс и решил освежиться в фонтане. Кстати сказать, и в этом случае зверю помогли вернуться домой работники милиции. Собственно, из Ильмен и расселяются эти ценные животные по водоемам области.

В то лето мне, как говорится, везло на бобров. Во время экспедиции по заповеднику довелось часов пять наблюдать вместе с фотокорреспондентом Петровым за бобровым поселением. Мы тихо сидели в лодке, поставленной на якорь вблизи берега одного из заливов Ишкульского озера. Через шесть часов, когда уже заболела спина и солнце покатилося за дальние горы, вдруг показалась темная

голова зверя. Щелчок фотокамеры — и на воде остались только легкие круги. Несколько раз всплывал бобр, осматривая с разных сторон нашу лодку, но так и не осмелился к ней приблизиться. На сей раз природная осторожность взяла верх над любопытством. А бывает наоборот, особенно у молодых зверей.

Место там интересное. В осиновой прибрежной рощице будто вырублена какой-то заготконторой небольшая делянка. Только пеньки конусообразные, обгрызанные, и не валяется вокруг них ни одной щепочки: не в пример иным лесозаготовителям «делянка» чистая, ухоженная, с аккуратно поваленным стволом осины. Теперь хвостатые лесорубы «распилят» его на куски, скатят по корытообразному «волоку» в воду и сплавят в свои норы.

Когда-то бобры были исконными жителями Урала. Но после хищнического истребления, причину которого понять нетрудно — бобровая шапка носится лет шестьдесят, — надолго исчезли из наших мест. Двадцать лет назад в Ильменском заповеднике поселили 22 воронежских бобра. И снова развелись эти ценные животные.

За разговорами о дружелюбном поведении бобра незаметно добрались до границы заказника. Дальше машина не пошла — грязно. Снова водворили зверя в ящик — и спустились в болотистую пойму реки Миасс. Выпустили бобра в протоку. Он помедлил немного: не шутят ли? — потом немного поплавал туда-сюда. Пла-

Ну и, наконец, кирилловцы. Дело тут совсем не в партизанском командире Кирилле, а в испанском слове **гверильясы**. Гверильясы — партизаны, **гверилья** — партизанская война превратилась в **кирилловцы**.

Ошибаются и те люди, которые считают, что **буран** связан с **буря**, а трава названа **зверобоем** потому, что она **зверя убить может**. Слово **буран** — ураганный ветер с метелью пришло к нам из татарского языка, где слова **буря** вообще нет. Зверобой в украинском языке звучит как **диروبой**, в болгарском — **дзиробой**. Первая половина этого названия идет не от слова **зверь**, а от слова **дыра**. Как известно, листья травы этой

имеют прозрачные точки — дыры. Видимо, болгарский **дзиробой** по народной этимологии переделан в **зверобой**.

Чаще всего народной этимологии подвергаются слова малопонятные, заимствованные из других языков. Порой такая переработка придает словам комическое звучание.

Так, слово **катастрофа**, **бедствие**, заимствованное из греческого, переделали в **костовстреху**, **кабриолетка** — уменьшительное к французскому **кабриолет** — двухколесный экипаж — превратилась в **кабарлетку**, итальянское **инфантерия** — пехота — в **лихвантерию**, тюркское **баклажан** — в **подлежан** (лежит под чем-то), немецкое **спекулянт** — в

скупилянт (от глагола **скупать**).

Интересные примеры народной этимологии приводит в своих дневниках писатель Лесков. Французское **бульвар** — аллея в городе превращается в **гульвар** (потому как по бульвару гуляют), **гувернантка** — в **гувернянку**, **микроскоп** — в **мелкоскоп**, **престол** — в **крестол**, старый режим — в **старый нажим**, **самаркандские** платки — в **смарканские** носовые платки, а **дон Кихот** — в **дончихотку**.

А вот какой курьезный разговор произошел однажды у ученого-языковеда и колхозницы. Женщина ему рассказывала, что муж у нее **солист**. И на его вопрос: «В каком же

вает, между прочим, как ондатра, одна голова торчит из воды, только, кажется, медленнее. Впрочем, такое и с человеком бывает: не сразу размнется после долгой тряски в автобусе. Поплавав, зверь уселся на кочку, совсем по-кошачьи умылся и начал нырять. Быстро проходил под водой, у самого дна, и его темное тело виделось каким-то конусообразным.

В это время к протоке вышло стадо коров. Инспекторы бросились отгонять их от воды, дружно заговорили о рогатой напасти. Оказывается, скот жителей деревни Харлуши часто беспокоит зверей. Недоглядят пастухи — и шумливые буренки прутся в заказник, шастают от хатки к хатке, наводя панику на бобров. Если бы кто рассказал мне об этом, наверное, не поверил бы. А тут своими глазами наблюдал нечто странное.

Увидев в болотце зверя, несколько ко-

ров, размахивая хвостами и угрожающе опустив к земле рога, двинулись прямо на него. Дошли до воды и, застыв в комичных воинственных позах, уставились на бобра. Никто тогда не мог объяснить причины их необычной агрессивности. Может быть, приняли они миролюбивого зверя за какого-то хищника?

Наконец, бобер выбрался в русло реки, нырнул, и как будто его подменили, когда всплыл на поверхность воды. Заиграл, закувыркался, обрадовался: попал в родную стихию. Несколько минут над речной стремниной, втиснутой в заросшие осинником берега, колыхалась миниатюрная радуга. А когда она растаяла, зверя мы больше не увидели...

Виктор КОЛЧИН

Случай на Маныче

Шальный ветер облизывал лед. По-земка швыряла в лица людей холодное крошево. Заиндевелые рыбаки, приплясывая, сматывали удочки. Одни, потирая носы, торопились домой, другие — в охотничий домик.

Вскоре на льду остались лишь мы с

Аркадием Ивановичем, юристом, горожанином.

На нас — меховые ушанки, полушубки, валенки. Но мороз ухищрялся: запускал ледяные иголки за воротник, пощипывал щеки. Мы бы тоже давно ушли, но, к удивлению, на мясо брался окунь.

ансамбле?» — недоуменно отвечала: «Нет, он у меня по капусте, а раньше был по огурцам».

Тут итальянское слово солист — певец, музыкант, артист балета — превратилось в существительное совсем с другим значением. Оказалось, что солист тот, кто занимается солкой овощей (от глагола солить).

В диалектах переосмыслению подвергаются и русские слова, если затемнено их первоначальное значение. **Лукоморье** превращается в **глухоморье**, **ландыш** — в **гландыш**, **ремесло** — в **рукомесло**, а **горностай**, например, в Нижне-Сергинском районе Свердловской области называется **горносталям**.

В «Повести временных лет» есть название восточно-славянского племени, жившего более тысячи лет назад по верхнему течению Западной Двины, Днепра, Волги, — **кривичи**. Племя это называлось так потому, что его родоначальник имел имя Крив. Однако впоследствии в московских, владимирских, тульских говорах стали считать, что кривич — неискренний, фальшивый человек. Основой для такого переосмысления послужило выражение **кривить душой**.

Итак, не всегда можно найти исторические корни слов, если исходить лишь из их внешнего сходства. Это сходство, как мы уже убедились, часто бывает ложным.

Ну а теперь возьмем такие слова: **космос**, **Кузьма** и **косметика**. Есть ли между ними какая-то связь?

Греческое **космос** — значит **мир, вселенная**. Еще в древние времена мир, вселенная считались высшим воплощением, идеалом величия, красоты, гармонии. Вот поэтому от корня **космос** образовалось слово **косметика** со значением **красота, украшение**. В древнерусском языке имя Кузьма звучало иначе, чем сейчас: Косма, Козма, то есть слово имело корень тот же, что и слово космос. Значит, космос, Кузьма и косметика — родственные слова. Вот как бывает!

А. БЕЛЯЕВ

Да так жадно заглатывал наживу! Иногда брался судак.

— Аркадий Иванович, — предложил я, — всю рыбу не переловишь, не пойдешь ли и нам... почаевничаем.

— А удочки?

— А что с ними? Постоят. А попадет-ся, не сорвется.

— И то правда.

В охотничьем домике мы разомлели. После чая вздремнуть захотелось.

Несколько рыбаков уже храпака задавали.

— Нет уж. Нежиться не время. Не за этим приехал, — заявил Аркадий Иванович.

И мы стали облачаться в свои «до-спехи».

Когда подошли к лункам, с удивлением поглядели друг на друга. Удочки валялись на льду. Некоторые были запутаны, оборваны. На крючках — лишь головки от окуней.

— Какая наглость! Хулиганство! — не выдержал приятель. — За такое дело — пятнадцать суток дать мало! Уж я бы статью подобрал. Вишь ты, ловкач...

Мы уже привели в порядок снасти, а Аркадий Иванович не унимался.

— Завтра же — на новое место. К камышам. И затишье, и от этих «шутников» подальше.

Утром мы до пота старались: высверливали, долбили во льду новые лунки. Ровным рядком выстроили коротенькие удилища вдоль камышовой стены. Надежно втыкали их в выбитые ломиком гнезда.

Не успел я наживить последний крючок, как Аркадий Иванович выхватил из лунки чернополосого судака. Лицо его просияло. Он взвесил рыбку на ладони.

— Что я тебе говорил: вот где крупная, в корневищах.

Вскоре и у меня заклевало. Но ветер свирепел. Сухие камыши ходуном ходили, высвистывали на разные лады. Коченели руки. Я уж хотел предложить напарнику обогреться, как вдруг он сам:

— А не пойдешь ли нам на часок. Уж я... того...

— Можно, — согласился я.

И мы заторопились в домик. Огляды-ваясь, Аркадий Иванович сказал:

— Следить надо. У меня в рюкзаке — бинокль.

С мороза удивительно вкусными были чайная колбаса и бычки в томате. Да и горячее молоко было необыкновенным.

Пока я блаженствовал за столом, Аркадий Иванович успел выглянуть в окно и ахнул.

— Опять грабят!

Мы одевались по тревоге. Бросились под яр.

— Забегай слева, через камыши, а я справа! — на ходу кричал приятель. — Сцапаем голубчика!

У меня от бега и волнения спина взмокла. Через камыши я пробирался шагом, осторожно, хотя от ветра все кругом трещало.

И вдруг я увидел: у наших удочек орудует желтая пушистая лисица. Ухватив зубами удилище, она пятится назад. И вот на льду затрепыхался судак. Откуда ни возьмись, вторая лиса, более пушистая, с черными ушами, с подпалиной на хребте и кончике хвоста. Схватив рыбу, стала быстро пожирать. Это был лисовин, степной корсак.

Рыжая лиса несколько не удивилась. Она ухватила очередное удилище и поволокла его. Когда на льду забился окунь, она впилась в него зубами.

Заложив пальцы в рот, я свистнул. Грабители встрепенулись. Лисовин взмахнул пушистым хвостом и исчез в зарослях. А рыжая лисица оглянулась, посмотрела по сторонам, ничего не увидя, прижалась животом ко льду да так и поползла в камыши. Прежде чем скрыться, она еще раз оглянулась. Видно, хотелось узнать, кто помешал ее вкусному завтраку.

Когда мы подошли к лункам, Аркадий Иванович набросился на меня:

— Зачем ты свистал?

— Что б страху нагнать хулиганам.

— Эх, ты! Как бы я дорого заплатил, чтобы еще раз увидеть подобное. Ведь эти лисы по ночам мне сниться будут.

— А как же насчет пятнадцати суток?

— Я бы тебе их дал, чтоб не свистал. Ай, яй! Ну, ты только подумай! Тридцать лет рыбаку, а такое впервые увидел.

Николай НИКОЛАЕВ

ПЕЛИКАН ГОША

После бури в камышах подобрали птенцов — двух колпиц и пеликана с поломанными крыльями. Лечить их взялась рыбацка Мария Ивановна Абросимова. Вскоре питомцы привыкли к ней и каждое утро встречали ее у своего сарайчика, ждали завтрак.

Из-за корма скандалов не было — проглотит пеликан два-три сазанчика и спокойно наблюдает, как колпицы подбирают остатки. Но иногда пеликан требовал большего внимания к себе. Он неуклюже передвигался на своих перепончатых ногах и громко гоготал, за что и прозвали его Гоша.

Пришла осень, колпицы улетели, а пеликан остался зимовать в рыбацком поселке на берегу степного озера Жалтыркуль. Ему нравилось летать за рыбаками в степь, когда они ходили за лошадьми.

А летом у Гоши нашлось новое занятие. Вместе с Марией Ивановной он отправлялся к озеру. Рыбачка перебирала улов в сетях, а пеликан скромно сидел на борту лодки и ждал угощения. Наестся Гоша, а излишек про запас в свою кожаную авоську под клювом складывает.

Во время штормов, когда рыбаки оставались дома, пеликан скучал. Он настойчиво стучал клювом в окно Марии Ивановны, а когда она выходила на его зов, с громким гоготаньем вел ее к лодке.

Постепенно Гоша научился распознавать, есть рыба в сетях или нет. Сядет хозяйка на весла, а пеликан тут же бросается в воду и плывет



вет впереди лодки к снастям. Есть рыба, он опустит свой длинный клюв в воду, нет — пошел вдоль сети дальше.

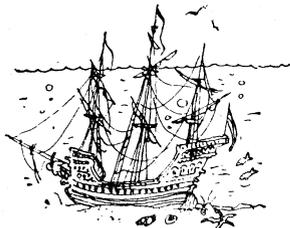
Гоша охранял рыбацкое хозяйство не хуже собаки. Он знал всех жителей поселка, старых и малых. И когда какой-то приезжий попытался взять хозяйскую лодку, Гоша набросился на него и так долбанул «чужака» в спину, что тот не удержался на ногах.

Недавно пеликан чуть не поплатился за свою смелость. К причалу подъехали браконьеры. Подошли к лодке, на которой сидел Гоша, стали дразнить его. Отбиваясь от них, Гоша напоролся на вытянутый браконьером кол. Чтобы спасти пеликана, пришлось прибегнуть к помощи хирурга.

Так и живет в рыбацком поселке на озере Жалтыркуль Уральской области ручной пеликан. Только теперь он стал понимать, что люди есть разные: добрые и плохие. Появляются посторонние, и он уплывает от лодки в сторону.



СЕРЬЁЗНОЕ С КУРЬЁЗНЫМ



САМЫЙ, САМЫЙ...

Шведский король пожелал заполучить необычный корабль — самый большой, самый красивый, самый быстрый и самый сильный. Инженеры построили ему такой корабль. На нем было много пушек, много украшений, роскошные каюты и очень высокие мачты. Оставалось посмотреть, как он будет плавать. И вот тут-то «Густав Ваза», так назвали корабль, оказался «не на уровне»: он вышел в море и... перевернулся.

Лишь через двести лет подняли его со дна. От причала он больше не отходит: нельзя, оказывается, быть одновременно и самым большим, и самым красивым, и самым быстрым, и самым сильным...

САМОЛЕТ, ФУТБОЛ И КОРОВЫ

Один из таких первых длительных перелетов совершил в 1924 году французский пилот Пеллетье-Дуази. Маршрут его пролегал из Парижа через Бухарест, Багдад, Калькутту в Ханой и дальше — через Шанхай, Пекин, Мукден — в Токио. Расстояние в 20146 километров французский авиатор покрыл в 47 дней, проведя в воздухе в общей сложности 120 часов.

Полет сопровождался целым рядом крупных и мелких неприятностей. Дважды летчик чудом избегал аварии, буквально «перескакивая» при посадке через провода телеграфных линий; дважды он вынужден был садиться на одно колесо: лопались шины. Во второй раз это произошло в Рангуне, где в те времена был крохотный аэродром, расположенный в центре города и вдобавок обрамленный большими деревьями.

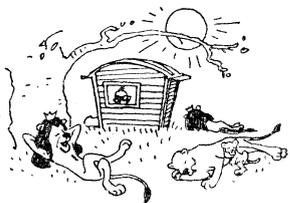
Уже потеряв скорость и едва задевая верхушки деревьев, пилот вдруг заметил, что половину поля, и без того миниатюрного, занимают игроки в футбол. «Я хорошо знаю, — писал позже Пеллетье-Дуази, — как действует перерыв в середине партии, и не стал бы зря тревожить играющих, но...» Но на другой половине поля, превращенной в пастбище, мирно паслось стадо коров. С лопнувшей шиной, отчаянно лавируя между людьми и животными, Пеллетье-Дуази все-таки сумел благополучно посадить машину.



КЕСАРЮ — КЕСАРЕВО...

Посетители одного из западногерманских зоопарков жаловались директору, что львы в клетках слишком ленивы: когда к ним ни подойдешь — дремлют себе и дремлют...

Директор вскоре предпринял путешествие в Танзанию и там убедился, что львы и на свободе спят в среднем по 16 часов в сутки. Более того, они еще и днем находят время, чтобы подремать часика четыре. Зоолог провел более недели в специальном закрытом домике, установленном на месте обитания семейства хищников, выясняя эти цифры.



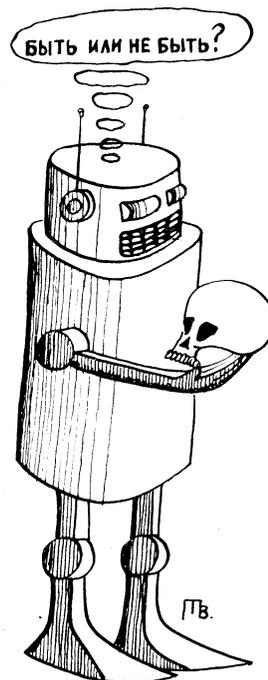
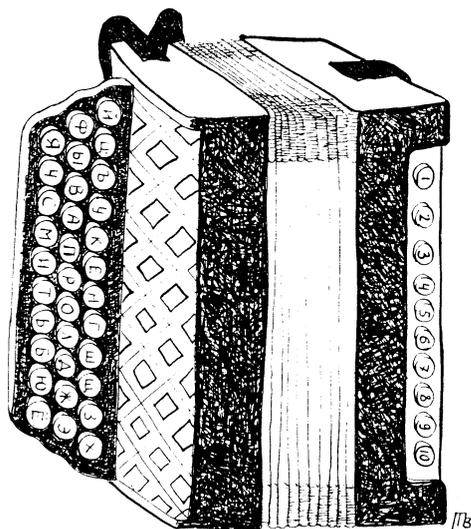
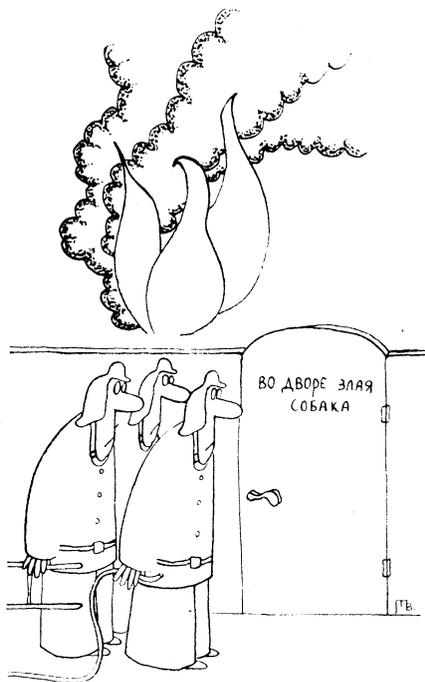
РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

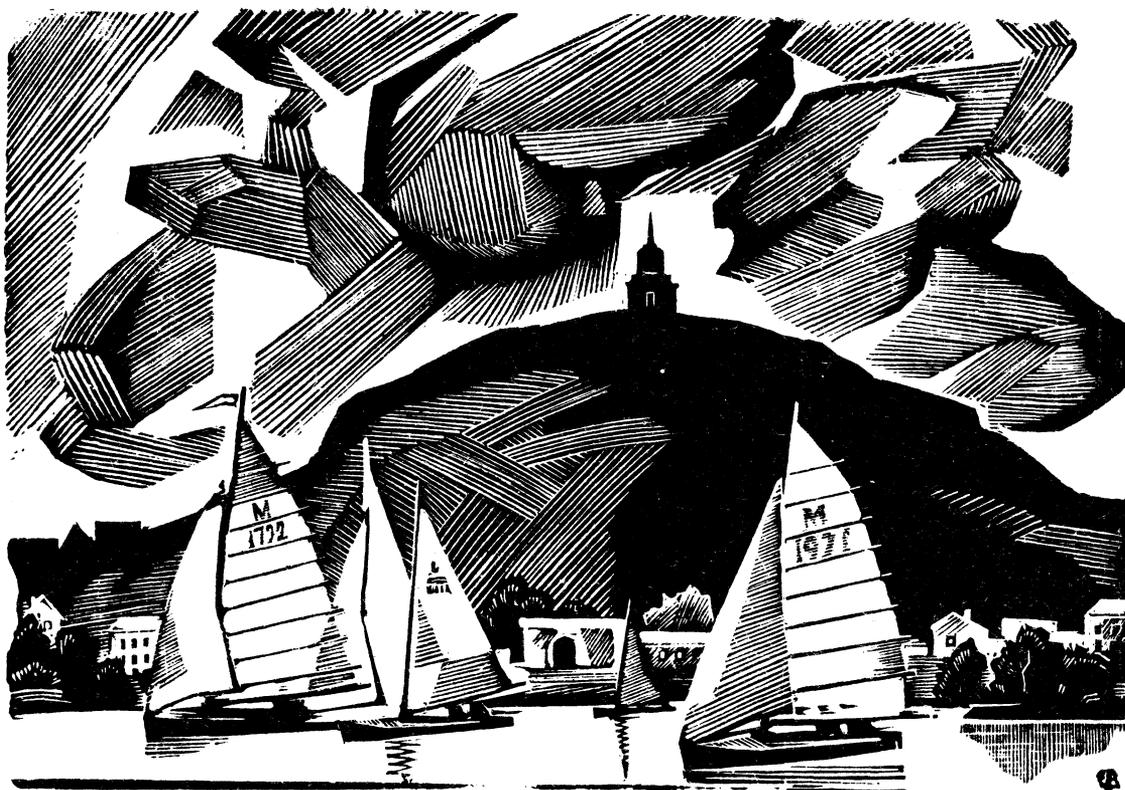
Технический редактор Э. Максимова. Корректор В. Бурангулова.
Адрес редакции: Свердловск, ГСП-353, ул. 8 Марта, 8. Телефон 51-22-40.
Средне-Уральское Книжное Издательство

ИС 18106. Подписано к печати 20/IV 1972 г. Бумага 84×108¹/₁₆=2,6 бум. л.—8,82 печ. л.
Уч.-изд. л. 9,73. Тираж 195 000. Цена 30 коп. Заказ 113.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49.

Рисунки
В. Тарасова





Е. ВАГИН

ЛИСЬЯ ГОРА. Н. ТАГИЛ.

30 коп.

73413

Главный редактор С. МЕШАВКИН
Редколлегия: А. АСС, А. БОГАЧЕВ [зам. главного редактора], МУСА ГАЛИ,
А. ДОМНИН, Б. КОЛЕСНИКОВ, В. КРАПИВИН, Ю. КУРОЧКИН, Г. МАШКИН,
Н. НИКОНОВ, Л. РУМЯНЦЕВ, К. СКВОРЦОВ, И. ТАРАБУКИН [ответственный секретарь],
В. ШУСТОВ